

ГЕОРГИЙ  
СУФТИН



# Мако́рин Же́них

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1973

*Роман Георгия Суфтина «Мако́рин же́них» впервые был выпущен Архангельским книжным издательством в 1960 году. Второе, дополненное и переработанное издание «Мако́рина же́ниха» относится к 1965 году. Настоящее издание романа – третье, посмертное. Ушел из жизни автор, но оставленные им произведения продолжают его жизнь.*

*В романе «Мако́рин же́них» рассказывается о нелегкой жизненной судьбе крестьянского парня Егора Бережного, ставшего знатным лесозаготовителем, о звериных нравах людей с частнособственническими инстинктами, о воспитании в человеке коллективистского сознания, о большой и трудной любви Егора и Мако́ры.*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Суженый, ряженный,  
приди ко мне ужинать.

*Девичье гаданье*



*Глава первая*

### МАКОРИНО УТРО

#### 1

Макора, заспанная, со спутанными волосами, вышла на крыльцо. Утренний ветерок заставил её вздрогнуть. Она запахнула ворот легкой ситцевой кофточки, глянула из-под ладони на реку, поблескивающую под горой, и шагнула со ступеньки. Роса обожгла подошвы голых ног. Сверкая икрами, Макора спускалась по склону. Сизовато-стальной след оставался за ней на мягкой отаве. А кругом, на острых листочках свежей травяной поросли, на ячменной стерне, ещё не успевшей потемнеть, на кустах жимолости и шиповника у закраины оврага, капельки росы сверкали и переливались под косыми лучами солнца, брызнувшими из-за леса. В низине открылся широкий луг, полого, округлыми волнами сбегаящий к реке. Он казался полосатым от ровных дорожек выстланного льна. Макора каждое утро брала пробу – горсточку льняной соломки, испытывала её на излом, мяла в пальцах костру, пробовала волокно на разрыв. Лён ещё не долежал. Падет роса, другая – будет готов. Макора наклонилась, чтобы поправить сбитую ветром льняную дорожку. В это время в зарослях ши-

повника что-то захопало, захохотало, закричало дьявольским голосом. Макора не успела испугаться, как из-за куста вышел Егор Бережной с уздечкой в руке.

– Что, небось, затрепыхалась душа-то, – сказал он, вразвалку пересекая овраг.

– Ну тебя, лешак! Не хошь, да перепугаешься...

Егор остановился на дне оврага. Поглядел искоса на Макору, свернул сигарку, прикурил от зажатой в пригоршнях спички, окутался сизым облачком дыма.

– Ох ты и девка, занозистая шибко...

– А и занозистая, так что! Не тебе учить...

Снизу из оврага фигура Макоры, залитая аловатым рассветным золотом, казалась вылепленной из глины. Егор усмехнулся:

– Ишь, ровно статуя египетская...

– Сам ты статуй!

Макора повела плечом, бросила пучок льна и зашагала к деревне, не оглядываясь, но чувствуя на себе Егоров взгляд. А Бережной стоял и добродушно попыхивал сигаркой. Когда Макора скрылась, он кинул уздечку на плечо и не спеша пошел к лесочку, где пофыркивали кони. Наверно, не чувствовал Егор девичьего взгляда через крылечное окошко, шагал большими сапогами по гладкому лугу спокойно, твердо, как шагают уверенные в себе люди.

## 2

Изба у Макоры неказиста, о три окошка, крыта под охлупень<sup>1</sup> старым почернелым тёсом. Сзади к ней пристроен хлевек под соломенной крышей. Крылечко скрипучее, с шаткими перилами. Изба робко прикорнула с краю деревни, в самом поле, за воротами. Сиротская изба не украсит широкой деревенской улицы, пусть стоит за околицей, у задворок. Но не по избе хозяйке почет, а по тому, как она пироги печет. Макора пироги пекла на славу. Это мастерство она унаследовала от матери. Огрофёна была доброй стряпкой, за что ее и брали «казачихой»<sup>2</sup> в любой дом с великой охотой. Всю жизнь Огрофена стряпала и варила на чужих людей. В страдную пору успевала и в поле поработать до ломоты в костях, и пирогов напечь, и обед приготовить. Дочка у неё удалась вся в мать – к делу охочая, на руку мастеровитая. Только одним с матерью разнится – характером. Норовистая, непокладистая. Огрофена немало на своем веку перенесла незаслуженных обид и притеснений кротко, безропотно. Макора не так-ва, ей палец в рот не клади.

– Опять, девонька, сельсоветский деловод приходил. Говорит, Федюня Си-

<sup>1</sup> Охлупень – желоб, связывающий верхние концы досок на крыше.

<sup>2</sup> Казачиха – так называли на Севере батрачку, нанятую на сезон.

няков, председатель, тебе сказывать велел, чтобы зашла. Не согласится ли, бает, на лесозаготовку. Стряпуха там, что ли, нужна, – сказала Огрофена дочери, когда та появилась в избе. – Пойдешь али нет?

– Надо, так и пойду, – равнодушно ответила Макора, думая о чем-то своём. Мать вздохнула, стала рыться в лоскутках, вываленных на лавку из лукошка.

Пока Макора затопляла печку, возилась со стряпней, Огрофена любовалась ловкостью и сноровкой дочери. Кому только такая достанется, ладная да рукодельная? Надо бы хорошему человеку, не вертихвосту нынешнему... Старуха недолюбливала теперешних парней, какие-то они стали самовольные, всё знают, ни с чем не считаются. Отдать бы дочь за человека степенного, уважительного к старым порядкам. Как отдашь? За кого захочет, за того и пойдет...

Макора успела обрядиться, сидела перед зеркалом, заплетала косу.

– Ты чего, мамуся, там нашептываешь про себя? Уж не колдуешь ли худым часом?

– С чего ты взяла! – обиделась старуха, – никогда поганым делом не занималась...

– Да я пошутила. Экая ты...

Макора перекинула косу на спину, одернула юбку, еще раз глянула в зеркало.

– Пойду, мама, до сельсовета. Может, за делом зовет Синяков-то.

### 3

Сельсовет помещается в бывшей одноклассной школе. В просторной комнате стоит три стола – председательский, покрытый застиранным кумачом, широкий, с точеными ножками, из поповской столовой; секретарский – поменьше, с цветасто размалеванной столешницей и ящиком посередине; третий совсем малюсенький, приткнулся в углу за шкафом – счетоводский. В большие щелявые окна дует, в комнате холодно. Председатель Синяков сидит в сукманном казакине<sup>1</sup>, отороченном по воротнику и полам седым курчавым барашком. Стол у председателя пуст, на нем нет даже чернильницы. Синяков поглядывает на медленно передвигающийся по полу солнечный луч, сладко, тягуче зевает.

– Солнышко уж до косой половицы добралось, а записываться никто не идет. Отчего это, думаешь, Кеша?

– Жди, придут. Куда денутся, ежели приспичит жениться. Кроме нас, никто не регистрирует, – отвечает секретарь, не отрываясь от бумаги, которую он давно и усердно пишет.

Председатель молчит минуту, внимательно наблюдая за секретарским пером, а потом наставительно произносит:

---

<sup>1</sup> Сукманный казакин – шуба с борками по талии, крытая домотканым сукном, сукманиной.

– Пиши чище, в рик пойдет.

Он поднимается из-за стола и хочет направиться к выходу, но в дверях в это время появляется Макора. Синяков садится на место. Макора здоровается.

– Здравствуешь, – внушительно отвечает председатель и указывает на скамейку. – Садись-ко, поговорим о деле.

Макора скромно присаживается на краешек скамейки. Синяков хочет вести себя официально, с положенной важностью, но не выдерживает. Облизнув за чем-то губы, расплывается в улыбке.

– Макора ты Макора, еловая кокоря... На лесозаготовку-то поедешь ли? От леспромхоза запрос был, повариха им надобна, на базу, что ли...

Макора опускает глаза.

– Вы уж, Федор Иванович, не дитё вроде, чтобы ребяческой побасенкой меня дразнить... А на базу я могу поехать, худо ли дело. Заработать-то надо.

– Так и добро, поезжай. Кеша, выпиши ей бумагу.

Макора ушла, Синяков прищелкнул языком, глядя ей вслед.

– Хороша Макора! Как ты, Кеша, скажешь?

– Вот Анфиса бы твоя услышала, она тебе прописала бы еловую кокорю, – ответил секретарь.

Он попал в уязвимое место. Председателя Анфиса была на редкость ревнивая и вздорная баба. Синяков замучился с ней. Он терпеливо сносил все учиняемые ею скандалы, молчал и смотрел на неё так, будто перед ним было пустое место. Накричавшись всласть, Анфиса хлопала дверью и убегала к соседкам судачить. А Синяков вздыхал, вынимал замусоленную книжечку и заполнял страницу крупными неровными строчками. Однажды в сенокосную пору Анфиса донимала супруга с особым пылом. Шутка ли, его прокос оказался рядом с прокосом бойкой и смазливой соседки! Анфиса пилила-пилила мужа при всем честном народе, а он молчал, только багровые пятна блуждали по лицу. Потом внезапно схватил березовое полено и кинул в ноги жене. Анфиса неделю не могла ходить. Соседи стали укорять Синякова. Он не оправдывался, только достал из-за пазухи клеёнчатую книжечку и показал укорщикам.

– Вот. Места больше не хватило, все листочки записал. Чего оставалось делать?

Соседи согласились: верно, делать больше было нечего.

Анфиса после этого случая стала осмотрительнее, но от привычки донимать мужа подозрениями не избавилась. Поэтому Синяков, проглотив ядовитое замечание секретаря, сказал тихо и отдельно:

– Ты, Кеша, без помарок бы писал-то. В рик бумага пойдет. Понял?

– Я это уж слышал, Федор Иванович! – весело откликнулся секретарь. – Мы одинаково пишем, что для рика, что для вцика...

– Смотри, парень, – погрозил Синяков корявым пальцем.

Макора весь день готовилась к отъезду. Вымыла избу, натрясла для коровы сена вперемешку с яровой соломой, наколола дров и сложила их в сенях ровной поленницей, наносила полную кадку воды, чтобы мать ни в чем не затруднялась. Заштопала свою старенькую жакетку, выутюжила праздничную юбку и кофту, бережно уложила их в берестяной кузовок.

Вечером Макора вышла на крыльцо. Она любила эти осенние вечера, тихие, бодрые, когда из-за реки через опустевшие поля тянет легким пока ещё холодком, а от бревенчатых стен и крыш, накаленных за день солнышком, веет теплом: стареющее лето заигрывает с молодой осенью, да попусту – пора ему уходить. Склонившаяся к охлупню береза грустно роняет один за другим пожелтевшие листочки. Овины, риги и амбары пахнут свежим зерном. Но лето всё-таки не сдаётся. И пока не распустили мокрети осенние дожди, пока стылые ветры прячутся где-то за горами, за лесами, небо хранит ещё остатки летней синевы. А за щетинистым от жнивья горбом дальнего поля, там, где зубчатая каемка леса обозначает линию горизонта, всё ещё трепещет и мерцает, поднимаясь ввысь, прозрачный воздух. Но что это? Будто облачко взметнулось и повисло в синеве, желтоватое, теплое. Оно движется, расширяется, растёт. Почему-то заволновалась Макора, стала поправлять косу, глянула в осколок зеркальца, вставленный в паз зауголка.

По пыльной дороге мчится подвода. В тарантасе развалился, молодецки выкинув ногу, Егор Бережной. Он легонько сдерживает своего маленького, но шустрого Рыжка. Против Макориного крылечка туго натягивает вожжи. Меринок послушно останавливается, косясь глазом и мотая головой, будто кланяясь.

– Здорово ночевала, Макора Тихоновна!

– Здравствуешь, Егор Павлович.

Ей показалось, что парень хочет спрыгнуть с тарантаса. Но он не спрыгнул, а только перекинул вторую ногу через край кузова.

– Ты бы подошла, Макорушка, – сказал он.

– Ну вот ещё, – тряхнула она косой, стала снимать недозревшие гроздья рябины, развешенные у подволоки.

Егор незаметно вздохнул, чуть шевельнул вожжами. Рыжка не надо понукать, он рванул вдоль по деревне так, что из окон стали выглядывать невесты и свахи, спрашивая незнамо у кого:

– Чей это? Какой это?

Отпустив Рыжка на все четыре стороны, Бережной присел на бревешко у колодца, закурил. Услышав, что приехал брат, из нижнего огорода пришла Луша. В огромном скрипучем пестере она несла тугие кочаны капусты.

– Скоро ты вернулся, – сказала она Егору.

– Долго ли умеючи-то, – ответил тот. Затянулся, выпустил дым, стряхнул пепел с сигарки, кивнул на тарантас. – Возьми там коробку – увидишь...

Луша достала коробку, хотела идти в избу, да не выдержала, тут же на крыльце раскрыла и ахнула, порозовев. В коробке были яркого цвету ленты, бусы и брошка с камнем, отливающим бирюзой.

– Это мне, Егорушка?

Брат не повернул головы, сказал не сразу:

– Привезено, так кому же! Бери. Тебе...

– Ой, какое спасибо-то...

– Ну, ладно...

Егор закатил тарантас в сарай, поправил защелку у ворог, прибрал на дворе раскиданные поленья – всё это медленно, аккуратно, по-хозяйски. Тряпкой смахнул пыль с сапог, пошел в избу.

## *Глава вторая*

### **ЕГОР БЕРЕЖНОЙ УЕЗЖАЕТ В ЛЕС**

#### **1**

В деревне Сосновке образовалась коммуна. Спервоначально мужики относились к ней добродушно-насмешливо, дескать, чудачкам рассудок не указ. У коммунаров не было ни опыта, ни умения вести большое хозяйство, ни материальных средств. Даже сколько-нибудь сносной крестьянской утвари не удалось им собрать. Неуклюжие старые сохи с кривыми лемехами, разбитые телеги с колесами без ободьев, кособокие самодельные дуги, гнутые из черемух, да дровни с подсанками – вот и всё её хозяйское добро. Оно навалом лежало на широком дворе бывшего купеческого дома. И какая-то злая рука намазала смолой на воротах: «У коммуны «Красный Север» базар ломаных телег». Коммунары даже не стали стирать эту насмешливую надпись, потому, может, что двор и впрямь был похож на базар.

Работали коммунары все скопом, питались из общего котла, жили в огромном купеческом доме вместе, так что трудно было разобраться, где какая семья. Несмотря на всё это, хозяйство коммуны шло в гору. И скот держался в теле, и урожаи удались хорошие, и даже на пустыре за церковной оградой завелась пасека – коммунары чай пили с душистым мёдом.

Соседи заживали в коммуну, посматривали, прикидывали, что да как. Иные уходили молча, иные, почёсывая загривок, спрашивали, нельзя ли записаться. Егор Бережной тоже бывал в огромной с низким потолком купеческой зале, превращенной в коммунарскую столовую, похмыкивал, глядя на длинные,

покрытые рыжими клеенками столы. Ему всё это казалось не всамделишным, пустой забавой. И вот, когда по всему сельсовету стали создаваться колхозы, Егор крепко задумался. Оставить отцовскую избу, пойти в такую шумную ночлежку, есть-пить не по-крестьянски за своим столом, у чугунка с духовитой рассыпчатой картошкой, а за длиннющим клеенчатым верстаком, из чужой оловянной миски – нет, благодарю покорно, не хочется. Егор молча сидел на собраниях, где клокотали страсти. Удивительное дело, в душе он не осуждал тех, кто ратовал за колхозы, даже соглашался с ними, но когда дело доходило до записи, отодвигался подальше в угол.

А в деревнях один за другим возникали колхозы. Повсюду стоял вой и гам. Случалось, что хозяин тащил корову за рога на колхозный двор, а хозяйка держала её за хвост, голосила, словно под ножом. Кулаки взялись за обрезы – и в бедняцких активистов полетели пули. Началось раскулачивание, и деревенские богатеи кинулись в бега, припрятывая добро, раздавая имущество соседям, а то и уничтожая. Кое-где, как тогда говорили, кукарекнул «красный петух». В ответ бедняцкие комитеты ещё крепче завинтили гайки. Случалось, с кулаком прихватывали и середняка. Нашлись горячие головы, что стали насильно загонять крестьян в колхозы. Раздавались голоса, что тем, кто не хочет вступать в колхоз, место на Сивом болоте.

Егор Бережной думал-думал, запряг Рыжка, привязал к дровням короб со снедью и под вечерок укатил подальше от греха.

## 2

Дорога на Сузём тянется волоком верст девяносто. В половине её стоит постоялый двор. Рыжко, увидев сквозь деревья огоньки, прибавил рыси. Огромная черная изба с тремя малюсенькими окошечками манила, обещая тепло и отдых. Но заехать во двор Егор не мог. До самых ворот двор был заставлен возами с поднятыми вверх оглоблями. Егор подошел к первым саням, потрогал, что на возу. Фанера. Видать, извоз с фанерного завода. Экая незадача! Неужели не найдется места Рыжку? Он привязал коня к сосне и пошел в избу. За столом вокруг двухведерного самовара сидели ямщики, блаженствуя над дымящимися блюдами. По лавкам и на полу лежали спящие. Егор, осторожно шагая через ноги и головы, пробрался к столу.

– Здорово ночевали, путники!

– Проходи-ко, ежели не шутишь...

– Шутить-то не время. Мне бы, мужики, лошадь во двор поставить, возы в усторонье кабы отодвинуть...

– Ишь ты, шустрый какой! А постоит твой рысак и за воротами. Сверни в сторонку да привяжи меж сосен, никуда не денется.



Егор постоял, подумал.

– Да ведь, парень, как сказать... Двор-то вроде не твой собственный, – проговорил он.

– А, может, твой? Давай, ямщики, бросай чай, беги очищать двор. Барин приехал...

– Сейчас, только самовар опростаем...

– Барина надо уважить. Нынче бар-то не часто встретишь...

– Как же, честь добра, да съесть нельзя...

Самовар уж был почти опорожнен, когда Егор снова появился в избе. Он молча снял кафтан, бросил его на полати и сам залез вслед.

– Что, приятель, без чаю-то? С морозу милое дело, – подмигнул крайний за столом ямщик.

Егор не ответил.

– Уж шибко ты строг. Молчком не отделаешься. Жить в соседях – быть в беседах.

Егор молчал.

Ямщики постепенно все улеглись. Прикрутили фитиль у лампы. Изба захрапела.

Утром ямщики, выйдя на двор, были ошеломлены. Его середина оказалась пустой. Под навесом стояли дровни с торбой на оглоблях, из которой лениво выбирал овес рыжий меринок. Осмотревшись, ямщики увидели, что их возы стоят вплотную один к другому вдоль забора. Кто их так поставил, уму непостижимо. Неужели один-одинешенек тот молодец, что мирно почивает на полатях? А кто другой? Так или этак, а надо возы разобрать, вытянуть на середину двора. Не простое это дело. Скопом взялись за оглобли – не каждый воз сразу подавался. А парнище тот в одиночку со всеми возами управился. Силён мужик! Где такой и уродился?

Пока ямщики кряхтели со своими возами, Егор слез с полатей, закусил, напился холодной воды из ушата и, выйдя на двор, стал запрягать Рыжка. Все смотрели на него, ни слова не говоря. И только когда он выехал со двора, кто-то промолвил:

– Это, ребята, поди, сам чёрт...

Ямщики помалкивали: черт ли, не черт ли, а с таким лучше не связываться.

### 3

В новеньком лесном поселке Сузём было шумно. Хотя пахнущие сосновой смолью бараки наполовину пустовали, Егору после деревенской тишины жизнь здесь показалась беспокойной. Да и работа под доглядом десятника приходилась не по сердцу. А тут ещё казённый обоз – кони высоченные, страх посмот-

реть. А конюхи в бараньих замызганных полушубках, зубоскалы и охальники, выдавшие виды. Нет, не по нутру Егору такое житье. И когда он услышал, что в верховья реки уходит по стародревнему обычаю лесорубческая ватажка, присоединился к ней. Знакомые мужики охотно взяли Егора – парень работный, не лежебок, чего ж не взять.

Двенадцать душ сошлись в той ватажке. Договорились рубить лес на своих харчах с оплатой после сплава. Обьездчик отвел им делянку, полную сухостоя. От какой беды, от какого несчастья погиб тут лес, мужикам нет дела. Их забота срубить подсохшие на корню лесины, свезти к берегу, а весной сплавить до запани в устье речки.

Лесорубы добрались до места вечером, облюбовали сухую веретию<sup>1</sup> и на скорую руку соорудили шалаш из еловых веток. Спали скопом, укрывшись ряднинами<sup>2</sup>, для тепла накидав поверх толстый слой снега. С утра приступили к рубке избы. Дюжина молодцов за один день подняла сруб, запеледила его ельником, сложила посреди нового жилища очаг из битой глины, вдоль стен соорудила нары из жердей, покрыла их охапками сена. И когда на очаге запылал костер, а над ним забурилась вода в котлах и чайниках, стало весело. Усталые, все лежали на нарах, смотрели на очаг, любуясь пляской пламени, наслаждаясь теплом. Сизый дым висел ровной пеленой над головами сидящих выше их на пол-аршина. Он не сразу находил дорогу в продухах под застрехой. Но это ничего, не вставай во весь рост – и дым тебе не страшен.

Короток зимний день, потому рано встают лесорубы, при свете звезд разъезжаются по просекам каждый в свою делянку. Треск, уханье, гомон стоит в лесу до вечерних потемок. Круто посоленный ломоть хлеба и в обед и в паужну<sup>3</sup> – вся еда, некогда и негде разводить застолье. Зато вечером ведерный чугунок каши-поварихи с маслом и толокном плотно укладывается в желудки. И всю ночь до утра крепко жилой дух в лесной хижине.

Лесорубы коротают время до сна побасенками да бывальщинами, до коих охочи русские люди. Егор Бережной слушает, посмеивается, порой крякнет, мотнет головой, если рассказчик очень уж круто загибает.

Больше всех потешает Харлам Леденцов, мужик, а на мужика не похожий. Выпуклые совиные глаза, щёки оладьями, нос острый, с горбиком, а под ним усики бабочкой, под усиками оскал крепких зубов. И над всем этим могучая грива курчавых волос. Глотка у Харлама такая, что захохочет – с елей куржевина сыплется. Был Леденцов на германской войне, попал к немцам в плен, вернулся – стал псаломщиком в приходе, а закрыли церковь, начал бродить по округе, занимаясь тем и другим и черт знает чем, бросив немудрящее крестьян-

---

<sup>1</sup> Веретия – высокое сухое место в болотистом лесу.

<sup>2</sup> Ряднина – грубый холст домашнего изготовления.

<sup>3</sup> Паужин – перекуска между обедом и ужином.

ское хозяйство на испитую и пришибленную жену. От немецкого плена остались у него эти фасонистые усишки да пиджак с закругленными полами и прорехой сзади, которую мужики насмешливо называли порулей. От приходского клира он усвоил манеру речи врасстяжку, десяток церковнославянских слов и пение по гласам. Больше всего на свете он любил баб, водку и лясы. Бабы к нему льнули, как мухи к навозу. Косушка, если не было своей, находилась у приятелей. А лясы завсегда с собой, стало бы охоты точить. В лесную ватажку попал Харлам по нужде. Купчиху Волчанкину, которая его щедро питала, разорили. Крест с колокольни свалили и приперли им ворота на паперть – псаломщик лишился дохода. Идти куролесить зимой – не та пора. Вот и пришлось податься на лесной промысел.

Лежит Леденцов на нарах, гладит брюхо, топорщит усики и от нечего делать показывает мужикам, как поют на гласы. Всего-то гласов восемь, и любую молитву либо песню можно пропеть на любой из них.

– Вот так. Имеющие уши слышать да слышат:

Била меня мати на первый глас.

Била меня мати не первый раз...

Получается и впрямь похоже на молитву. Мужики смеются, Харлам совершенно серьезен. Он поднимается на локте и устремляет взор на противоположные нары, на Егора Бережного. Смотрит на него не мигая.

– А ты, Егор, сможешь? Ну-ка, на пятый глас...

– Что ты, я ведь не псаломщик, – отмахивается Егор и вдруг нарочитым козлетоном поёт:

Моя милка маленька,  
Чуть побольше валенка,  
В лапотки обуется,  
Пузырем надуется.

Леденцов от удовольствия трясет гривой.

– Всуе же ты, брате, не пел на клиросе. Зело добро. Только это уж на девятый глас.

– Могу и на двенадцатый, – говорит Егор, отворачиваясь к стене.

Пение надоедает, а сон ещё не приходит. Долог зимний вечер. Лесорубы лениво переговариваются о погоде, о дорожных ухабах, которые надо бы заровнять, о волчьих следах слева от буерака, что около развилки дорог. Харлам молчит, глядя в серую пелену застоявшегося у подволоки дыма. Но вот он, выждав паузу, снова подает голос.

– Слыхали, братие, какой со мной однажды случай был?

– Купчиха, поди, водкой угостила, – съязвил кто-то.

Леденцов пропустил это меж ушей, даже не удостоил острослова взглядом.

– Покойник из гроба вставахом, – прогудел он, делая страшные глаза.

Легковерные начали креститься.

– Что ты, Харлам, экое на ночь болтаешь.

– Болтаю? Своими глазами видехом...

– Статочное ли дело, ребята...

– Да что! Покойнику, ему не запретишь, особливо еретику...

– А Митяш, племянник мой, по книгам сказывал, что привидений быть не может, потому загробной жизни нет... Неуж неправду в книгах пишут? – усомнился Егор Бережной.

– В книгах! Пишут! – передразнил Леденцов. – На что книги, когда я сам видел. В ту осень дело было. Еду на Буланке ночной порой через Погост. Сосну разлапистую миновал, около Ушкуйницкого угора пробираюсь. А там дорога крюк дает, вокруг кладбища полверсты, пожалуй, лишних. Чем, думаю, холку кобыле мозолить зря, дай-ко я кладбищем напрямую махну. Тут в ограде пролом, все знают. Вот пробираюсь сквозь ольшаник, а Буланка упирается, прядет ушами. Ну, думаю, непривычная дорога, дурака валяет господня кляча. Подхлестываю слегка. А она идёт-идёт да и шарахнется. Что за чепуха? И меня мутить начинает. Храбрюсь, на лошадь покрикиваю тихонько, а у самого робость загривок чешет. Тут перед самым проломом в кладбищенской стене кустарник расступился, Буланка как метнется, я еле усидел, натянул поводья, стегаю её прутом, а она храпит, дрожит вся. Смотрю вперед, и у меня волосья начинают подыматься, картуз на затылке очутился. Между могильных крестов вижу, ребята, из земли идет сияние. Темные клочья вылетают и неслышно падают обратно. На кособоком кресте будто звездочка горит: то потухнет, то опять вспыхнет. Я бормочу про себя: «Свят, свят, свят»... Не знаю, что делать, хоть назад ворочайся. А тут из земли как вылетит матёрое, страшное, с таким хлопаньем, ровно сто петухов сразу крыльями замахали. Буланка моя на дыбы, я ухватился за гриву. И вижу: из могилы лезет черный и лохматый...

Лесорубы слушают, затаив дыхание. Даже те, кто начинал было всхрапывать, притихли. Харлам понимает дело, не спешит. Поправляет головешки на очаге, почесывается, начинает устилать солому на нарах. Наиболее нетерпеливые не выдерживают.

– Да ты не тяни. Что дальше-то было?

– Дальше-то? – безразлично переспрашивает Харлам, мусолит сигарку, долго прикуривает от уголька. – Дальше я и сам не помню. В сторожке в память пришел, когда святой водой опрыснули...

– Да неуж покойник из могилы вылезал?

Леденцов глядит на парня, видит в его голубых глазах страх и любопытство, отвечает так, будто и сомнений быть не может.

– Кто, как не покойник.

– Покойники, они вылезают, бывает, – поддакнул кто-то.

– Да, вишь, ещё и по-петушиному хлопают...

– А чего им, лишь бы испугать...

– А я покойника-то знаю, – радостным голосом возвестил Васька Белый.

Леденцов в упор уставился на него неподвижными выпученными глазами. Лыняные Васькины волосы удивительно светятся в полумраке, лицо выражает детскую наивность, смешанную с хитроватостью. Под прозрачными усишками блуждает улыбка, порой тихая, кроткая, порой с ядовитинкой. Эти переходы неуловимы и придают Васькиному лицу странное выражение. Встретив Харламов взгляд, Васька моргает и потупляется. Псаломщик, будто гипнотизируя мужика, говорит раздельно, твердо:

– Вот Ваську спросите, ежели не верите. Он не даст соврать.

– Почто врать-то, так и было, – охотно подтверждает Васька.

– Что, и ты видел покойника? – недоверчиво спрашивает Егор.

– Как не видел! Это я и есть покойник...

Все смеются. А Васька продолжает как ни в чём не бывало:

– Это я мальчишку хоронил, Петрушиного парня. Не вовремя, вишь ты, помер, в самую страду. Петруша говорит: «Выроешь могилу, лукошко толочна дам». А я отвечаю: «Толокното добро, но ты еще чекушечку добавь, для сугреву. Сам видишь, осенняя пора». Он добавил, верно. Чекушечка-та на кресте стояла, блестела, Харламу, кабыть, звездочкой показалась. А меня уж он за покойника принял. Сперва я шабур<sup>1</sup> из могилы выбросил, потом сам полез. А псаломщик возьми да и грохнись с кобылы-то... Меня испугался, стало быть...

Лесорубы дружным хохотом покрыли последние слова.

– Это, братцы, герой! От Васькиного образа духу лишился.

– Ты с ним чекушечку-то не разделил, Васька?

– Покойник, говорит, лезет, черный... А тут, выходит, Белый.

– А? Как же ты обмишулился, Харлам?

Леденцов, стараясь держаться невозмутимо, помешивает в очаге коряжистым сосновым суком. Прикурив от вспыхнувшего сука, он затягивается и наставительно говорит голубоглазому парню:

– Всяко бывает. И белого ангела за чумазого черта примешь...

Постепенно угомонясь, лесорубы засыпают. Харлам, подкинув дров в очаг, лезет на своё место в углу нар. Бережной слышит, как он возится там на соломе, потом утихает. Тишину нарушает только потрескивание дров в костре. За стеной хрупают овес лошади, изредка пофыркивая. Бережной засыпает. Ему видится во сне Васька Белый в образе ангела с рожками.

### *Глава третья*

---

<sup>1</sup> Шабур – старинная деревенская одежда, род плаща из грубого холста.

## ЕГОР ИЩЕТ ПРИСТАНИЩА

### 1

Совсем стемнело, когда, свалив воз, Егор раздумывал, как же быть: в делянке оставалось нарубленного лесу ещё воза на два. Не вывезешь нынче ночью – того и гляди снегом завалит: по приметам пурга собирается. А тут Леденцов подъехал, свалил лесину и, намотав веревку на санную колоду, закурил.

– Ты, похоже, к дому наострился? – спросил Егор.

– А куда еще? Хватит с меня сегодня.

Егор кашлянул, потоптался на месте.

– Давай-ко съездим. Там сушьё остается, одному не вывезти.

– Ну-кося! – удивился Харлам. – Сам не вывез, а я за твоим сушьем поезжай? В уме ли...

– Да ведь занесет лес-то, что ты, парень...

– На мой пай хватит. Ауфвидерзейн!..

Егор не нашелся, что возразить, про себя буркнул: «Вот немчило!», свистнул и повернул Рыжка на дорогу в делянку. До полночи возился он с сушьем, ничего не оставил у пня. Приехал в избушку, когда все уже крепко спали.

Назавтра расходилась такая пурга, что глаз на волю не показывай. Лежали на нарах до полдня, пока не надоело. Когда же бокам стало тошно, поднялись, развели очаг, уселись вокруг: кто валенки чинить, кто хомут перетягивать, кто вить веревки. Харлам с аппетитом уплетал печеную в золе картошку. Ах, хороша она, рассыпчатая, искристая, духмяная, с похрустывающей на зубах корочкой. Какое наслаждение положить пышущую жаром картофелину на край деревянного обноса очага, ударить по ней кулаком, чтобы рассыпалась, и, круто посолив, есть, зажмуря глаза. У каждого жителя лесной избушки на очаге свой участок, где в раскаленной золе печется его картофель, заложенный со счету. Боже упаси забраться через незримую межу и прихватить нечаянно чужую картофелину! Воркотни, а то и шуму не оберешься. На этот раз так и случилось. Егор, проснувшийся позже других, нечаянно перемешал свои картофелины с Харламовыми. И тот заворчал:

– Своя-то у тебя, небосй, не картошка, а кислая вода, так ты к чужой подбираешься, Егорко...

– К твоей? Она у тебя сладко яблоко, – добродушно усмехнулся Бережной.

– А что! И яблоко. Земля-та у меня в огороде какая? Песочек, для картошки мило-дорого. А в твоём огорошке хрен и тот не растёт...

– В моем? Хрен? Брехать – не молотилом махать...

– Я брешу! Повтори, ну, повтори...

Леденцов вскочил на ноги, попал головой в дымное облако, хлебнул горько-

го чаду, закашлялся до слез. Полез к Егору с кулаками. Бережной долго молчал, отмахивался, как от мухи, но, наконец, не выдержал, взял Леденцова за плечи и усадил на нары. Однако тот не успокоился и продолжал на чем свет ругаться. Мужики не без любопытства наблюдали за поединком: развлечение всё-таки. Масла в огонь подлил Васька Белый. Он пришивал медную с прозеленью пуговицу к зипуну и со светлой улыбкой наблюдал за ссорой. А когда Леденцов распалился, Васька возьми да и скажи:

– Руки отсохли, ребята, подрачься-то...

Егор рассеянно посмотрел на Ваську, зевнул, забираясь на нары.

– Подальше от дерьма, так не воняет...

– Ты сам дерьмо! – гаркнул Леденцов. – Экой жук, даровщинки захотел.

Привык на чужой шее ездить.

Егор побагровел.

– На чужой шее? Ах ты...

Он сказал такое слово, каких не произносил никогда, слез с нар, стал наvertывать на ноги портянки.

– Ты куда, Егор, на пургу глядя? – обеспокоенно спросил сосед.

Бережной не ответил, надел валенки, натянул полушубок, забрал свою кису с припасами.

– Прощевайте-ко...

Лесорубы зашумели, стали уговаривать Егора не уезжать. Васька Белый, уронив медную пуговицу на землю, ползал у самого порога, шаря руками во всех ямках. Егор осторожно поднял его, посадил на нары, шагнул за порог. Ветер сыпнул в открытые двери охапку снега. Пурга неистовствовала, навивая вокруг избышки высоченные сугробы. Егор запахнул азиям<sup>1</sup>, наглухо затянув его кушаком, запряг Рыжка и поехал по просеке. Тут вьюга не доставала, снег мягкими хлопьями падал на дровни, на лошадиную спину, на широкие Егоровы плечи. Отъехав уж порядочно, Бережной оглянулся, придержал Рыжка.

– Ишь ты, на чужой шее. Он на меня робит...

Егор резко дернул вожжами. Рыжко кинулся вскачь, потом перешел на рысь.

## 2

Рыжко остановился у занесенной снегом избышки. Вздремнувший было Егор поднял голову, расправил плечи. Пласты пухлого снега посыпались с азияма. Что это за хибара? Вроде раньше тут никаких строений не было. Верно, недавно поставлена, от лесопункта. Всё равно надо зайти погреться, а если мож-

---

<sup>1</sup> Азиям – старинная верхняя одежда из сукна домашней выделки, напоминающая тулуп, только без меха.

но, то и заночевать: пурга не утихает, а до Сузёма ещё далековато. За избушкой Егор заметил шалашик из еловых ветвей. Это для лошади. Останавливаются, стало быть, люди. Поставив Рыжка в шалаш, Егор прикрыл его азымом, отряхнул от снега, обмел прутом валенки. Дверное кольцо легко подалось, звякнула щеколда. В темноте сеней Егор нащупал скобу, дернул дверь. Вместе с облаком пара вкатился в избушку.

– Кто тут живая душа? Можно к вам?

Керосиновая лампа с жестяным отражателем неярко освещала избу. Егору бросилась в глаза чистота. Пол, струганные лавки, тесовый стол – всё блестело свежей желтизной. А ведь тут немало проезжающих. Видать, обиходная хозяйка живет.

Занавеска перед печью колыхнулась, и из-за нее выглянуло женское лицо. Два возгласа раздались одновременно:

– Ой, Егор...

– Макора! Вот тебе раз...

Вытерев руку передником, Макора протянула её гостю.

– Проходи, погрейся. Ишь, пурга какая! Не занесло в дороге-то? И чего тебя погнало в такую завируху...

Егор смотрит на Макору, будто впервые её видит, то ли с изумлением, то ли с недоверием. Да полно, она ли это! А ведь, право слово, она. У кого еще такие глаза – и добрые и строгие, ласковые и насмешливые...

Пока Егор раздевался да пятерней приглаживал всклокоченные волосы, Макора поставила на стол чайник, подала творожных шанежек, слегка поджаренных, пахучих.

– Закуси с дороги, – потчует хозяйка. А гость с аппетитом ест шанежки и смотрит на неё во все глаза. Она смущается, уходит за занавеску.

– Ты давно тут, Макора? – спрашивает Егор.

– Да, почитай, с самого начала, как пришла в лес. Котлопункт ведь здесь. Лесорубов из делянок кормлю. Конюхи забегают с ледянки. Она совсем рядом проходит.

– Ишь ты, котлопункт... Одна живешь?

– А кого мне надо? Одна.

– Не боишься?

Макора отдергивает занавеску.

– Да ты что, Егор? Кого мне бояться?

– Хотя бы волка, – усмехается Бережной.

Смеется и Макора.

– Волки сами меня боятся...

За окнами воет-завывает пурга, снежные заряды ударяют в стекла. Егор пьет чай, смотрит на Макору. Она чистит картошку, изредка поглядывает на Егора.



«Вот судьба, наверно, – думает Егор, – когда ещё другой такой случай выпадет. Скажу – и делу конец. Нечего в прятки играть, не дети уж...» Он встаёт из-за стола, благодарит Макору, шагает поперек половиц. Они скрипят под тяжелой ногой. Хочет Егор начать особый разговор и не знает, с чего начать. Будто пропала речь. Ну не подбираются слова, да и всё тут. Макора склонилась над картошкой, усердно чистит её, словно важнее этого дела и нет ничего на свете. А сама нет-нет да и вскинет глаза, не поймешь и какие – не то насмешливые, не то ласковые. Ух, девка, окаянная душа! Егор молчит. Макора тоже молчит. Молчанка затягивается.

– Ты ночевать, Егор, будешь или поедешь дальше? – спрашивает, наконец, Макора.

Бережной хватается за этот вопрос, как утопающий за соломинку.

– Ночевать? Буду ночевать. Совсем.

– Как совсем?

– А так. Больше от тебя не уйду. Хватит.

Макора кладет неочищенную картофелину, встает:

– Ты что такое сказал? Мне непонятно...

Он, тяжелый, неуклюжий, идет к ней. И Макоре становится жутковато. Она прижимается в угол, скрестив на груди руки ладонями вперед, как бы готовясь к защите. Слабым умоляющим голосом произносит:

– Егор, что ты... одумайся...

Он ничего не видит и не слышит, надвигается, как неотвратимая лавина. Макора закрывает глаза...

В это время гремит крылечная дверь, в сенях слышится топот.

– А ну-ка, Макора, угости нас шанежками!

В облаке пара Егор видит смутные фигуры конюхов в дубленых полушубках. Они раздеваются, трут озябшие руки, весело переговариваются.

– И погодушка, будь она неладна...

– Насквозь продуло, кажись. Все печенки-селезенки заledenели.

– Ничего, сейчас Макора нас горячим чаем отогреет. Есть, Макора, чай?

– Спрашиваешь! Макора – девка аккуратная, у неё всегда всё в норме...

Конюхи пьют из жестяных кружек крутой кипяток, обжигаются, уплетают за обе щеки румяные шанежки. Егор сидит молча, не смея поднять на них глаза. Ему кажется, неожиданные гости поняли, что произошло в избушке перед их приходом, и смеются над ним, Егором, попавшим в такую глупую историю. Он готов бы провалиться на месте, да лавка-то прочная, черт её побери. А Макора ходит легкая, проворная, угощает конюхов, хлопчет у стола. А глянет искоса на Егора, улыбнется одними уголками губ. И в глазах столько смешинок... Не смотри ты в эти глаза, Егор, не смотри...

Перед рождеством в Сузём приехал Синяков. В районе ему строго наказали, чтобы в эти дни ни один сезонник не выехал из лесу. А как их удержишь, если захотят выехать? Синяков обошел все бараки, где разместились сосновские мужики. Настроение было рабочее, о выезде домой большинство и не помышляло. Люди приехали в лес не игрушками играть, а зашибить деньгу, какие уж тут праздники. Синяков заглянул в барак, где жили кулаки. Эти ведь богомольны и хитры. Ждут христовых праздников, чтобы улепетнуть. Но кулаки были на месте, все со скорбными лицами ужинали, каждый в своем углу.

– Проверяешь, Федор Иванович? Всё наперечет, кулак к кулаку, – сострил кто-то.

Синяков на остроту не откликнулся. Осмотрел барак, постоял, подумал.

– Чтобы ни одному не отлучаться без моего ведома. Ясно? – сказал строго.

– Яснее уж нельзя, Федор Иванович, – слышался опять тот же голос. Синяков повернулся по направлению к нему, поикал глазами говорившего, видимо, не нашел.

– Будет яснее в случае чего. Твёрдое задание выполнить – раз. Из лесу не выезжать до весны – два. Пустыми разговорами не заниматься – три. Вот вам и весь сказ.

Он вышел из кулацкого барака успокоенный. Всё в порядке. И только он сказал или подумал про себя, что все в порядке, как навстречу ему попал Егор на своем Рыжке.

– Ты куда, Бережной? Ведь уже поздновато в делянку-то...

– А я не в делянку, домой.

– Домой? Как так? Ты что – ошалел?

Егор расправил усы рукавицей.

– Чего мне шалеть! Взял да и поехал, не привязанный. Садись, тебя подвезу. Дома-то баба ждет, небось...

– Баба! Я тебе покажу бабу. Заворачивай оглобли!

Синяков ухватил Рыжка под уздцы. Меринок шарахнулся, заплясал. Егор натянул вожжи.

– Отпусти-ка, Фёдор, подбру-поздорову, без греха...

Рыжко тряхнул головой, вырвался, оглоблей отбросил Синякова в сторону. Егор оглянулся, помахал рукой. Синяков даже побагровел от обиды.

– Ишь ты какой...

«Вот я какой! Сам себе хозяин, никому не должен, ничем не связан, – думал

Егор, прислушиваясь к скрипу саней. – И Синяков мне не указ. Кланяться не буду, укора не снесу. Захочу – уеду, не захочу – останусь... Нечего ему, Федюне, за мою оглоблю хвататься. А то, пожалуй, поддайся им... Тут Синяков тобой командует, а там отставной псаломщик носом крутит. На меня он, Харламко, горб ломает, извелся совсем человек, одна тень осталась... шире печи. Пущай он на меня не работает, не пропаду как-нибудь, прокормлюсь... Смех и грех, с Харламком поссорился, с Синяковым погрубиянничал... Чего такое со мной делается, неуж я эдакой неуживчивый?..»

Трухтит Рыжко неспешной рысцей, на ходу подхватывает мягкий снег языком, почуяв слабинку вожжей, оглядывается на хозяина, будто хочет удостовериться, что тот не потерялся, сваясь с дровней. Егор забыл всё, охваченный думами. Вот Макора. Лежит к этой девке Егорове сердце, любя она и всем выдалась. Да не ладится отчего-то у парня с нею. Не отталкивает, не избегает, а к сердцу не подпускает. Как к ней подступиться, не приложишь ума.

Небольшой угорчик на дороге. Озорно взмахнув хвостом, Рыжко пустился в галоп. На повороте сани раскатило, и Егор очутился в пухлом сугробе. Чертыхаясь, он с трудом встал, весь облепленный снегом. Бросился вдогонку за меринком. А Рыжко под угором стоял, как вкопанный, и смотрел на приближающегося хозяина, смиренно мотая головой. Егору показалось, что он с хитрецей ухмыляется.

– Ах ты, шут рыжий!

Он беззлбно хлопнул вожжой меринка.

#### *Глава четвертая*

### **ПЛАТОНИДИНО УГОЩЕНИЕ**

#### **1**

– Егорушко, зайди-ко...

На крыльце стоит Платонида с постно-ласковым лицом, в черном полушалке, повязанном по-монашески, плоская и прямая, как доска.

– Зайди-ко, Егорушко, на часок, на минуточку, для доброго словечка, для тихого уговору.

Бережной мельком глянул на неё, распрягая Рыжка, промолчал. Платонида не отступалась.

– Не без дела зову, Егорушко. Ефим Маркович тебя ждет.

И верно, в закуржевелом окне показалась Ефимова голова, сверкнул белый глаз, и в раму застучал согнутый палец.

– Вот он и сам. Чуешь, Егорушко? Приходи-кось...

Егор повесил хомут на деревянную спицу под навесом, туда же поставил

дугу, буркнул неохотно:

– Зайду, зайду. Не студишься, Платонида, ишь поземка вьёт...

Платонида поджала губы, сделала умильно-кроткое лицо.

– Мы привычные, божьи ветерочки нам не страшны, берегут андели-хранители от стужи и от нужи...

Егору не хотелось идти к Платонидиному зятю Ефиму Марковичу, не лежало у него сердце к этому тихому и смиренному дальнему родственнику, да как не зайдешь, если зовет, дело соседское. В Платонидиной избе Егора обдало кислым духом с примесью запаха перегорелого лампадного масла. Перед божницей теплилась лампадка. Егор положил шапку на брус полатей. Платонида отметила: не перекрестился.

– Садись на лавку, к столу поближе, задвигайся-ко, гостем будешь...

Ефим Маркович отодвинул от стены стол с широкой, цветасто размалеванной столешницей, поставил на её середину енду, до краев наполненную пенным пивом. Платонида принесла две медные стопки, изукрашенные финифтью, такие объемистые, что в каждую войдет по доброму ковшу. На деревянную тарель водрузила рыбный пирог со срезанной верхней коркой. Жирный бок запеченной в пироге палтусины поблескивал столь аппетитно, что Егор отвел глаза. Ефим Маркович разлил по стопкам пиво, причмокнул, глянув на Егора глазами, белыми, как молоко.

– Принимай-ко, благословясь. С дороги-то не худо попробовать Платонидино пивышка.

Черное, как сусло, пиво шипело, и пенные колпаки, будто шапки набекрень, нависли над краями стопок.

– Принимай-ко...

Осушив стопку, Егор закусил пирожной корочкой, румяной, похрустывающей на зубах, пропитанной рыбьей солоноватостью. Платонида принялась его потчевать.

– Ешь рыбу-то, рыбу ешь, наплевай на корку...

Домашнее пиво забористое, после двух стопок у Егора уже слегка закружилась голова. Он подналег на палтусину, слушая краем уха Платонидино воркование, а сам думал: «С чего разугощалась старая божья коровка?»

Ефим Маркович заводил разговор исподволь, сперва расспрашивал о лесозаготовках: велики ли там заработки, чем отоваривают и как это люди уживаются в барачной тесноте. Потом дошел до дела.

– Я хочу, Егор Павлович, к старому ремеслу вернуться. У меня в роду все кожевники. И дед и отец всю жизнь кожи делали. Меня тоже немножко научили. По нынешним временам этот промысел должен быть доходным. Кто ныне кожи-то выделывает? У мужиков ни на сапоги, ни на сбрую лоскутка нет. А как мужику без кожи в хозяйстве?

Он набрал задубелыми пальцами щепотку палтусины, отправил в рот, прожевал основательно, запил пивом.

– Так вот, заведу хоть небольшую кадушку, буду мужикам кожи выделять. Как думаешь, понесут?

Он уставился на Бережного не мигая. Егор подумал: «Из простокваши у него, что ли, гляделки-то?» Под этим белесым взглядом он чувствовал себя почему-то неловко, ответил, чтобы только не молчать:

– Понесут, надо быть... Чего не нести...

– Я тоже так думаю, – подхватил Ефим Маркович, – не обязательно всё в поставки отдавать, немножко-то можно и утаить. Свой товар будет – и на сапоги сгодится, и уледи<sup>1</sup> к лету смастеришь, а то можно и пиджак хромовый огоревать. Чем мужик хуже комиссара? И он в кожанке ходить умеет...

Ефим Маркович придвинулся по лавке ближе к Егору, приклонился к нему.

– Слышь, соседюшка, иди ко мне в подручные, обучу ремеслу, при любой погоде свой хлеб будет. Научишься, глядишь-смотришь, на паях будем работать, раздуем кадило, при благоприятствии заводешко сварганим. А?

Ковыряя рыбьей костью в зубах, Егор размышлял, что ответить. Кожи выделять и в самом разе заманчиво научиться. Только не лежит душа к этому белоглазому уговорщику. Чего-то в его словах есть тухловатое, вроде дохлой кошкой припахивает. Претит душе.

– М-да, оно так, – тянул Егор, внимательно рассматривая рыбий позвоночник.

Ефим Маркович не давал ему одуматься, ворковал и ворковал вкрадчивым медовым голосом.

– На лесозаготовках надо сгибаться и сгибаться, чтобы заработать какой грош. И спи, где попало, и ешь, что подвернется. В грязи да беспокойстве. А тут бы дома, в покое, на своей воле... На первых порах со мной, а потом, даст бог, сам дело поведешь. Со всей округи кожи пойдут, нам с тобой сырья хватит. Сперва на давальческом посидим, а там видно будет, может, и скупку заведем... По рукам, что ли?

Бережной встал из-за стола, затоптался на месте, для чего-то пригладил ладонью волосы на голове, поискал глазами шапку.

– Благодарствую на угощенье. Ко мне гостите. Отпотчую, чем богат... Прощайте-ко...

Он надел шапку, согнулся под полатами и нырнул в дверь.

---

<sup>1</sup> Уледи – род кожаной обуви, мягкие туфли.

Когда Егор захлопнул дверь, Платонида погрозила ему вслед костлявым кулаком.

– Балда, так балда и есть. Не сваришь ты с ним каши, Ефимушко. В кого только уродился рыхляк такой. Пушай ломает загривок в лесу, ежели не хочет мёд ковшом хлебать. И правду бают: шеей бык, а умом телёнок. Зря ты ему планты свои открыл...

– Ничего, не болтун он. А помаленьку да потихоньку, с богом со Христом обстругаем, станет мягким, как юфть. Такие тяжкодумы лучше поддаются обработке, только с ними исподволь надо, не сразу...

Ефим Маркович аккуратно положил верхнюю корку пирога на старое место, собрал на столе крошки, с ладони кинул в рот, перекрестился на лампаду, вздохнул:

– Прости меня грешного, спасе милостивый...

Ушел в боковушку, где мокли в деревянном чане кожи, распуская вокруг такую кислятину, что с непривычки не передохнешь. Ефиму Марковичу этот дух нипочем, он к нему привычен. Только тогда и взыграла Ефимова душа, как пахнуло кислой кожей из боковушки. А до того она скорбела и сохла с тех пор, как довелось Ефиму Марковичу раскидать, разворошить старое отцовское кожевенное заведение и уехать подальше от родных мест, поступить на службу приёмщиком акционерного общества «Союзпушнина» и сидеть тихо-мирно, не поднимая головы. Ныне, придя к Платониде в дом, женившись на её перезрелой дочери Мусеньке, Ефим почувствовал, что можно вернуться на старую дорогу. Угол здесь дальний, место тихое, глуховатое, удобнее такого места не найдешь. Да и теща оказалась прямо клад: толковая, хитрая, расторопная. Она с полвзгляда поняла Ефима Марковича, исподволь, незаметно выпытала, сама намекнула, чем заняться и какую линию гнуть.

Платонида походила по избе, убрала пирог, вымыла стопки, сняла нагар с фитиля лампадки, посидела в горнице. Всё размышляла, как лучше подступиться к Егору. Надо его взять в руки, надо. От такого увальня, ежели с ним умело справиться, прав Ефимушко, будет польза. Да и родственник всё же, хоть и седьмая вода на киселе. В случае будут придирааться – это тоже козырь. Да через него, может, и молокососа Митюшку удастся прищемить, а то парень вовсе отбил от рук. Статочное ли дело – родители с мальчишкой не могут справиться. Ну, к старым да почтенным уважения не стало, куда денешься, время такое. Но и на бога руку поднимают, святых не признают, над божьим именем озоруют. И этот сопляк Митюшка туда же. Надо его взять на притужальник...

Открыв дверь в боковушку, Платонида поморщилась. К кожевенному духу она никак не может привыкнуть. Пересилила себя, спустилась по скрипучей лесенке.

– Не откладывай, Ефимушко, уговори Егорка-то. Нужен он нам будет со

всех сторон. Не тяни, а то уедет опять на лесозаготовки, не повернешь его...

### 3

Егор ушивал валенки. Из старых обрезков кожи он подбирал запятники, обсоюзку. Лоскутки были разные – и черные, и желтые, и хромовые, и русской кожи, пропитанные дегтем. За этим занятием его застал Ефим Маркович. Егор застеснялся, отложил валенок в угол, чтоб не видно было, занялся сигаркой. От Ефима и это не укрылось. Он с нарочитым интересом взял отложенный валенок и стал рассматривать Егорове мастерство.

– Ловкие у тебя руки, Егор Павлович. Ишь, как наострился: из дерьма козульку стряпаешь. Да, довели мужичков до ручки, нечем катанки подшить.

Егор закашлялся от чрезмерной затяжки, повернулся лицом от света.

– Валенки-то барахло, выбросить бы их надо, да я думаю: в лесу еще потаскаю в оттепель, не что и надо...

– В оттепель, конечно, – согласился Ефим. – Да ты зря-ко мне не придешь, свой ведь... У меня есть кожа, добрая. Не только на обсоюзку, вовсе сказать, я бы тебе на полные калоши дал. И подошвенная имеется. Вот погоди-ко, я схожу.

Не дав Егору слова произнести, он юркнул за дверь и через две минуты возвратился со свертком.

– На-ко, соседусшко, чего нам считаться, свои люди...

Он развернул сверток. Мягкий, хорошо выделанный товар скрипел под пальцами. Среди «передов» оказался и кусок подошвы. Ефим пощелкал по коже ногтем, взял её на перегиб.

– Век носиться будет! Своей выделки, на совесть...

Он положил кожевенное добро перед Егором.

– Бери. А буде не хватит, так ещё возьмешь. У меня не в потребиловке, паевой книжки не надо...

– Да что ты, Ефим Маркович, убери-ко... С чего это ты меня одолжаешь? Я не нищий, чтобы по миру собирать...

– Какой ты ежистый, Егор Павлович, не пойму я тебя. Со всей душой к тебе, вовсе сказать, по-родственному, а ты... Давай без счет. Заодно нам с тобой надо, свои люди...

Ефим Маркович сел к окну, облокотился.

– Хорошо, соседусшка, заживем, когда развернемся вовсю. Ты в колхоз не идешь, верно делаешь. Этот огород на один оборот. Подурят да одумаются. Рассыплется всё. Видано ли дело – в одном доме семеро хозяев. Пустая блажь. Вот увидишь, достукаются до ручки и к нам же с поклоном придут. А у нас к той поре и в мошне капиталец будет, и хозяйство раздуем. С умом да с молит-

вой натворим такого, старики не поверят... Так-то, соседушка. Ты подумай, о чём я говорю. Неволить я тебя не хочу, вовсе сказать, ты, сам большой. А подумай и приходи ко мне. По-хорошему да по-родственному и завернём дельце...

Егор курил и курил. Он не поддакивал и не возражал. Слушал. В душе его боролось два чувства. Одно говорило: выгони ты, Егор, этого белоглазого уговорщика. Чего он тебя улещает? Не к добру это, ужли не видишь, какой он липкий человек... А другое возражало: что он лихого тебе сделал? Учит уму-разуму, не на злое наставляет. Мастерством заняться худо ли? Крепким хозяином будешь, горя знать не придется. Кожевенный промысел наживной. Не отказывайся, Егор...

У Ефима Марковича терпения достаточно, и он твердо усвоил совет Платонида: Егора надо взять в свои руки. Он то красочно расписывал выгоды затеваемого дела, то пугал Егора колхозами, сулил ему всяческие беды и напасти, буде он не прислушается к словам сведущих людей. Егор молчал. И трудно было понять, что у него на душе. Ефим Маркович решил, что на сегодня достаточно. Распрощался. Сверток кож остался в углу на лавке.

### *Глава пятая*

## **МИТЯ-КОМСОМОЛЕЦ ДЕРЕВЕНСКИЙ**

### **1**

Не напрасно Платонида вспомнила Митю. Он давно уже стал ей бельмом на глазу. Деревенский комсомолец, он не переносил Платонидино святошества и при всяком подходящем случае высмеивал её. Она смиренно вздыхала и медвяным голосом возносила молитвы богу, чтобы тот вразумил и наставил заблудшего младенца. Это ещё более распаляло Митю. Какой же он младенец, если за его плечами высшее начальное училище и школа второй ступени!

Окончательно Платонида возненавидела Митю после диспута в сельсовете. Этот диспут он затеял вместе с друзьями-комсомольцами. С юной горячностью они взялись за его устройство. На обороте старого плаката намалевали: «Диспут. Есть ли бог?». Вывесили эту афишу у крыльца потребиловки. В назначенный час помещение сельсовета оказалось переполненным. Митя, хотя и волновался, но был твердо уверен в победе. Ещё бы! Не зря же он прочитал книжку Емельяна Ярославского и ещё кучу брошюр о боге и сущности религии. Ему было совершенно ясно, что бога нет и быть не может. Он предвкушал тот момент, когда припрет к стенке попов, если они придут. Но попы на диспут не пришли. Что ж, сказать по правде, Митя в глубине души был этим доволен, хотя сам себя старался уверить в обратном. Говорил он горячо и с подъемом.



Приводил неотразимые, казалось ему, примеры противоречий из библии, ссылался на научные авторитеты, старался как можно доходчивее изложить теорию происхождения земли, которую ещё совсем недавно зубрил в школе. Всё шло хорошо. Мужики и сверстники слушали внимательно. И если бы не отец, сидевший в заднем углу, на которого Митя поглядывал не без опасения, лектор чувствовал бы себя совершенно великолепно. Отца Митя побаивался, тот был религиозен и строг. Но он сидел недвижимо, закусив бороду и глядя на ножку стола, около которого громил бога его сын.

Уверенный, что лекция получилась совсем недурной, Митя закончил её с пафосом:

– Итак, доказано, что бога нет и быть не может.

Охладив себя глотком воды из стакана, Митя спросил, будут ли вопросы. Все молчали. Он подождал и задал тот же вопрос снова. Опять молчание. Только Митя хотел спросить в третий и последний раз, имеются ли вопросы, встал отец. Среди общей тишины он сказал негромким голосом:

– Так есть бог-то, сынок, али нет его?

Митя растерялся. Что он – в самом деле усомнился в боге или в этом вопросе таится угроза сыну отцовской расправой? Как отвечать, что отвечать? После минутного колебания Митя сказал, стараясь выговорить как можно тверже:

– Нет, бога нет!

И тут слушатели заговорили все разом.

– Как это так нет? Быть того не может...

– Ты докажи, докажи...

– Без бога, говорят, не до порога. Старые люди говорят, зря не скажут...

Митя стоял, недоуменно глядя на людей, и силился понять, что же случилось, почему все его горячие слова и неотразимые доказательства остались втуне. Как же теперь быть? Провал? Неужели провал? Ему хотелось убежать, скрыться, исчезнуть совсем. Безотчетно взгляд его остановился на столе, покрытом блеклым кумачом, где лежала потрепанная Митина кепка. Эта кепка и оказалась той спасительной соломинкой, ухватившись за которую, утопающий обретает силы.

– Вот вы кепку видите? – спросил Митя, стараясь перекричать шум.

– Ну, видим, – недоуменно ответили в зале.

И тут Мите стало удивительно легко. Он ощутил почву под ногами. Продолжал уверенно, с некоторым даже озорством:

– Надо доказывать, что кепка лежит на столе? Всякий может сам потрогать... Надо доказывать, что она тут?

Руки сидящих на полу ребяташек одна за другой потянулись к кепке. Кто-то сказал:

– Верно, лежит...

Митя взял кепку и кинул её за шкаф.

– А вот сейчас я утверждаю, что здесь, на столе, вот тут, – он указал пальцем, – лежит кепка. Вы видите её?

– Не видим, – раздался голоса.

– Вы потрогайте, кепка тут лежит.

Ребятчи руки опять дружно потянулись к пустому месту на столе. Мальчишки в голос весело закричали:

– Пусто!

На лицах многих взрослых появились понимающие улыбки. Митя ликовал.

– Пусть тот и докажет, что бог есть, кто это утверждает. Бога никто не видел, никто не трогал. Чего нет, того нет. Не доказать.

Митин голос зазвенел. Торжествуя глядя на людей, Митя закончил:

– Вот вам ещё доказательство, что бога нет. Попы говорят: бог наказывает богоотступников. Я – богоотступник. Пусть он поразит меня, если существует.

Зал притих. Верующие опасливо поглядывали на потолок над Митиной головой, ожидая чуда. Лектор с нарочитой медлительностью прошелся около стола, заглянул за шкаф, извлек свою кепку, отряхнул её от пыли и натянул на голову.

– Лекция окончена, – сказал он будничным голосом.

Диспут завершился благополучно. Но когда Митя шел домой, на душе у него скребли кошки. Как встретиться с батькой, что сказать?

Отец сидел за столом, ужинал. Митя приготовился к отцовскому гневу. Отец не проронил ни звука. Митя положил свои конспекты на полочку рядом с божницей, стал раздеваться. Отец молчал. Только когда Митя умылся и направился к своей постели, отец сказал:

– Ты чего без ужина-то? Садись, похлебай молока...

## 2

Егор подумал: «Приедет Митя, надо с ним посоветоваться. Толковый парень». Подумал так и сам подтрунил над собой: «Ты бы ещё с младенцем советовался, Егор. Соску бы вынул у него изо рта и спросил, быть тебе кожевником или нет. Верно, молод ещё Митюшка, совсем не обсохло материно молоко на губах, и горяч, не хуже моего Рыжка, да мозговит дьяволенок. И упрям: ежели захочет чего, так добьется, хоть нос в кровь расквасит. В Бережных, в нашу породу...»

Егор не очень разбирался в мудрёностях, добытых Митюшкой из книг и газет, но как-то так выходило, что сердцем он был на стороне племянника, когда тот затевал сражения с богатеями да попами. Прошлым летом Митя вместе с одногодками-комсомольцами устроил новый праздник, день леса. Вместо трои-

цына дня. В троицын день крестьяне по обычаю украшали свои дворы молодыми березками. Нарубят березок и наставят вокруг избы, глядишь – вся деревня в зелени. Светло-изумрудные, будто прозрачные листочки трепещутся на ветру, радуют сердце. А назавтра уже вянут, свертываются. Печально поникают березки ветвями. Убирают их скорей мужики с глаз. Обрубят прутья, тонкие стволики пустят на жерди в изгородь, а то свалят в кучу где-нибудь на задворках, и гниют там, трухлявятся бывшие красавицы. Сколько лесу губится в троицу, не приведи бог. И задумал Митюшка с товарищами искоренить этот обычай портить лес. Объявили по всему сельсовету: в воскресенье будет день леса. С вечера на стене потребиловки, у крыльца, вывесили стенную газету. Уж и как они её разукрасили! Нарисовали смешных картинок, ярко их размалевали. Статейки написали крупными буквами, так что и малограмотный прочтает. А сверху огромный красный лозунг:

«Не руби, а сади!»

Утром в воскресенье Митя встал ранёшенько, пошел на Погост посмотреть, как действует их стенная газета. Кто в церковь идет, кто в лавку за товаром, кто в гости направился – все увидят стенную газету, не минуют: потребилка на краю села стоит.

Идет Митя и видит: по селу движется толпа. Похороны – не похороны, крестный ход – не крестный ход. Над головами сверкают на солнце голые, ободранные ветки ивняка. Впереди идет Фишка Мизгирев, кричит, вихляется, машет белым ивняковым прутком. Митя прислушался, чего же кричат: «Не руби, а сади! Не руби, а сади!» И вдруг Митя понял. Краска залила лицо, захолонуло сердце. Пропал день леса, погибла стенгазета. Все пошло прахом...

Незадолго перед этим комсомольцы начали поход против неграмотности. А чтобы добыть деньги на учебники да на бумагу и чернила, устроили субботник. На бывшем поповом лугу вымахали большие заросли ивняка. Ребята придумали вырубить ивняк, содрать с него кору и сдать её в потребиловку. Ивовая кора хорошо ценилась, потому что вятские кожевники ею дубили кожи. Кустарник ребята вырубали, кору ободрали, высушили, а ивовые прутья так и оставили лежать в луговой болотине. Вот этим-то и воспользовался кулацкий сын, Фишка Мизгирев. Он собрал своих приятелей, вооружил их ободранными прутьями и устроил шествие по селу. А из окон домов, что побогаче, неся хохот, ободряющие крики. Фишка ликовал...

– Не руби, а сади! – голосила толпа.

Митя прирос к месту. От растерянности он не мог переступить ногой. Уж мелькнула мыслишка: не улепетнуть ли подобру-поздорову, пока не поздно. Но отступить не пришлось, его заметили.

– Эй, голозадый селькор! Не пиши, а руби.

Фишкина ватага подошла к стенгазете, стала втыкать вокруг неё ободран-

ные ивовые прутья в щели и пазы. Длинные прутья ставили рядом, так что стенгазета оказалась окруженной как бы венком. И в этом венке из мертвых, сверкающих белизной, будто обглоданные кости, ветвей раkitника невыносимо ярко и насмешливо горели слова: «Не руби, а сади!»

Митя, не помня себя, взбежал на рундук, повернулся лицом к толпе, растопырил руки, как бы прикрывая стенгазету от покушения, и закричал:

– Ну и что! Думаете, ваш верх! Нашли зацепку, да?

Толпа загоготала. Но с разных сторон на помощь Мите уже спешили его друзья-комсомольцы. Паша Пластинин летел босой, в раздувающейся рубахе, кулаки сжаты и веснушчатый нос угрожающе вздернут. От перевоза мчался Славка Некрасов с засученными выше колен штанинами. Не торопясь шагал через площадь меланхоличный, задумчивый Миша Савельев. На плече тяжелые вилы. Фишка, завидев комсомольцев, исчез первым. Бочком-бочком он ввинтился в толпу и постарался убраться к дому. Постепенно разошлись и другие. Митя не сразу успокоился. Он пришел в себя, когда Синяков тронул его за плечо.

– Ну что стоишь, аника-воин? Убирай свои прутья. Да наперед не попадай впросак.

Фишкина выходка, доставившая Мите немало волнений, впоследствии обернулась на пользу. Она привлекла внимание к стенгазете. То один, то другой люди подходили к ней, разглядывали рисунки, читали заметки, иные по складам, посмеивались про себя: «Складно пишут огольцы, едри их корень! Складно и правильно. Лес-то ведь и взаболь зря переводим. Сколько березника каждый год в брос идёт».

### 3

После долгой отлучки Митя приехал домой не с пустыми руками. Он привез своим землякам такое, от чего они ахнут, никогда в Сосновке не виданное и не слыханное. Митя выучился на киномеханика. И пока Егор Бережной, встретивший племянника, помогал ему выносить из саней принадлежности кинопередвижки, Митя рассказывал дяде, что к чему и для чего, а тот только побрякивал да крутил головой.

– Неуж живые люди забегают? По стене? Врешь ты, Митяш...

А Митя, довольный, ухмылялся, важничал.

– Вот посмотришь – скажешь, вру ли...

Он не утерпел и, отказавшись от чаю и закуски, сразу же решил показать свое искусство. В избу набилось и взрослых и ребятишек, не продохнешь. Митя вынул из длинного узкого ящика свернутый в трубку экран, повесил его на переднюю стену. Покрытый алюминием, он светился в полумраке избы.

– Ишь какой полог, дорогой, наверно, – шептались женщины. Каждая старалась потрогать невиданное полотно.

– Оно, поди, серебряное, бабоньки...

В другом ящике оказалась тяжелая, крытая лаком машина. Митя поставил её на скамью, прикрепил болтами и гайками, приладил ручку, похожую на ту, что у точила.

– Косы точить будем, – посмеивались мужики, – рановато вроде, долго ещё до сенокоса...

Шнур с электрической лампой Митя перекинул через печную трубу, прикрепил гвоздем к матице.

– Что за пузырек? – спрашивали женщины. Мужики, которым доводилось видать электричество в городе, степенно разъясняли.

– Фонарь то. Без дыму и без огня горит...

– Неуж горит? Удивленье...

Митя посадил к динамомашине комсомольцев, сказал, чтобы вертели ручку по очереди – один устанет, другой сменит. Сам крутнул, сначала легонько, потом сильнее. Машина загудела. Под потолком вспыхнула яркая лампочка. Ребята закричали, женщины зашикали на них, удивленные и восхищенные необычным светом. Все глядели под потолок с таким видом, будто узрели жар-птицу. А Митя, передав ручку динамомашинны товарищу, стал налаживать киноаппарат. Он проверил мальтийский крест, протер чистой тряпочкой продольные и полукруглые салазки, вставил объектив, вынул из металлического ящика бобины с лентами, заправил фильм. Все в напряженном безмолвии наблюдали. Митя волновался, ведь он впервые после курсов самостоятельно, без инструктора готовился к сеансу. Ему казалось, что подготовка длится вечность, он спешил, не сразу находил нужные детали и принадлежности. Зрители, попривыкнув, начали переговариваться.

– Бабоньки, смотрите, с колесами.

– Мельница никак...

– Что ты, дура, волшебный фюнарь.

Митя солидно поправил:

– Не волшебный фюнарь, а киноаппарат «Патэ-Русь». С его помощью я буду демонстрировать фильм «Легенда Черных скал».

По избе прошел почтительный говор:

– Слышишь, ле-ген-да...

– Мудренное что-то...

– Молчи...

И вот погас свет, вспыхнул экран. Митя крутит ручку аппарата и удивляется, почему все смотрят не на экран, а на объектив, излучающий сноп света. Он останавливается.

– Почему вы смотрите сюда? Картина-то ведь там, на полотне.

– Ну? А мы думали тут, в стеклышке...

Все поворачиваются к экрану. По нему ходят неясные, смутные тени. Появляются буквы, растянутые, кособокие. Зрители глядят с любопытством, а механик нервничает, регулирует фокус, выравнивает рамку, проверяет, не сбит ли конденсатор. Нет, все в порядке, а изображение на полотне искаженное. Что такое? С механика капает пот. А публика, затаив дыхание, смотрит, как на берег накатывается морская волна, на скале появляется девушка, глядит на зрителей, улыбается.

– Господи, да она живая!

– И губами шевелит, говорит кабыть...

– Тише, слушайте, может, услышим, чего она бает...

А радость Митина горько омрачена: проекция плохая. В чем же ты, механик, сплеховал? Где тот изъян? Неужели и дальше так пойдет? С трудом докрутил он первую часть картины. Включил свет и стал проверять все детали аппарата по порядку. Все на месте. Так в чем же дело? Зажав ладонями виски, Митя напрягал память, вспоминая наставления инструктора.

– Ты, Митюша, чего? – забеспокоился Егор.

– Да видишь, дядя, не клеится что-то, тускло...

– Добро, парень... И так посмотрим.

Аппарат застрекотал. На экране показался поезд, мчавшийся издалека, от горизонта. Он постепенно приближается, становясь всё больше и больше. Вот вырисовался паровоз. Он летит на зрителей, огромный, тяжелый, пышущий дымом и паром. Ещё мгновение – и он вырвется из рамки экрана, всей громадой налетит на зрителей, раздавит их. Раздались крики, все хлынули прочь от полотна, началась давка.

Митя остановил аппарат, включил свет.

Обескураженные зрители изумленно озирались. Никакого паровоза, никого не задавило, вот чудеса-то... В суматохе кто-то перевернул на полу крышку футляра от аппарата. Митя поднял ее, хотел поставить на место и вдруг хлопнул себя по лбу.

– Обтюратор!..

Внутри футляра за специальным держателем мирно лежал обтюратор, та часть киноаппарата, которая устраняет искажения проекции на экране. Бедный механик забыл о нём.

Показ картины закончился полным торжеством механика. Зрители до полуночи сидели около аппарата, пока Митя разбирал его и мягкой тряпочкой протирал детали, слушали объяснения, не очень понимали, но были довольны и горды, что вот их сосед, недавний мальчишка, такой премудрости научился. Ручку динамомашины в тот вечер покрутили все – и ребяташки, и женщины, и

старые старики, даже старухи, которые охали, крестились, брались за нее с опаской, а все-таки брались.

*Глава шестая*  
**СУД В ПОСЕЛКЕ СУЗЁМ**

**1**

Бережной прожил дома с неделю. За это время он навозил домашним сена для скота, наготовил дровишек, всласть попарился в баньке. Запасясь харчами, поехал в Сузём. По знакомой дороге Рыжко бежал бойко. На развилке он повернул к котлопункту... Нет, Егор не направлял, сам меринок догадался, куда надо. В избушке было полно народу – время подоспело обеденное. Егору еле нашлось место с краю лавки. Макора носилась, как угорелая, стараясь всем подать обед вовремя. Лесорубы бодро покрикивали на неё, поторапливая.

– Ой, Макора, спать не надо. Душа пищи просит.

– Поспешай, девонька, жениха хорошего найдем.

Макора добродушно огрызалась. Она знала, что лесорубы торопят её в шутку, так, от доброго сердца. Заметив Бережного, Макора изменилась в лице. Молча подала ему миску щей, принесла порцию жареной картошки. Улучив момент, наклонилась к нему, прошептала:

– Что ты, Егор, наделал! Тебя хотят под суд отдать.

– Меня? Под суд? – изумился Егор. – Ты, девка, в уме ли? За что под суд, я тебя ещё не убил...

– Меня бы убил, так легче было, дурной... Там на тебя Синяков зуб точит.

– Угомонись. И Синякову я ещё бока не наломал, не за что судить. Вот наломаю, тогда пущай...

И хоть считал Егор слова Макоры девичьей пустобайкой, а всё же пока ехал от котлопункта до Сузёма, сердце беспокоилось. И оказалось, что не впустую. Едва он зашел в барак, ему сообщили, что уж на дверях столовки объявление вывешено: Бережного завтра судить будут. А тут появился и Синяков. Он поздоровался с Егором, однако руки не подал.

– Так что, товарищ председатель, соседей судить принялся? – спросил Егор, сузив глаза.

Синяков сел рядом на нары, поковырял зачем-то задоринку на доске, понюхал прозрачную смолку, приставшую к ногтю.

– Соседей ли, не соседей ли, разбирать в таком деле не приходится. Заварил кашу, так расхлебывай.

– Вот так каша, скажи на милость! Домой съездить нельзя стало. Я тебе не продавался, ты меня не покупал – и квиты. Вот тебе весь суд.

– Нет, не весь, Егор...

Бережной, по-бычьей нагнув голову, глухо спросил:

– Всерьез судить будете?

– Будем.

## 2

Назавтра к вечеру в барак, где поселился Егор, собрались лесорубы. В конце барака поставили стол, покрытый старыми газетами. Синяков встал у края столешницы.

– Граждане, давайте выберем суд.

Люди запереглядывались, барак наполнился гулом. Послышались негромкие выкрики.

– Самим и суд выбирать?

– А чего зевать, с руки разделка...

Синяков постучал по горлышку глиняного кувшина.

– Тишину прошу соблюдать, граждане. Товарищеский суд выбирать будем, свой, значит... Называйте кого...

Выбрали трех лесорубов. Они не без смущения уселись за стол. Долго спорили, кому быть председателем. Наконец, договорились. Выбранный председателем встал, неловко улыбнулся и, спохватись, погасил улыбку, произнес:

– Так что, граждане, начнем. Дело мы сегодня будем разбирать Бережного. Егор, где ты? Встань-кось...

Егор приподнялся на нарах, как-то боком, в полуоборот повернулся к судье.

– Тут я, никуда не денусь...

– Ну, так сиди, – согласился судья, потом что-то посоображал, поморгал глазами. – Давай лучше подойди сюда, на подсудимую скамью. Про твою вину вот Синяков читает. Читай, гражданин председатель...

Синяков встал лицом к судьям, но так, чтобы могли его слышать и все лесорубы в бараке, развязал тесемочки у коричневой папки, достал бумагу, откашлялся. Народ притих.

– В дни поповско-кулацкого рождества, когда все лесорубы как бедняки, так и середняки, единодушно решили не выезжать из лесу и ударной работой показать, что они порвали с опиумом для народа, только подкулачники могли без зазрения совести смотаться домой и там гулять, тем самым играя на руку классовому врагу...

Синяков читал отдельно, звонким голосом, и фразы, составленные хоть и не очень гладко, звучали увесисто и солидно. Получалось так, что Бережной подал пример и за ним уехало еще несколько лесорубов. Егор слушал и чем дальше, тем больше опускал нос. «А ведь, пожалуй, так и было. Не сообразил



ты, Егор, елова голова, куда дело может повернуться. Вот ныне и терзайся, сиди на подсудимой скамье. Срам-то какой...»

Когда Синяков кончил, судья спросил Егора:

– Ты виноватым себя, Бережной, считаешь или нет?

Егор запустил руку в загривок, ответил не сразу.

– Да ведь считай не считай – все равно виноватый, – тусклым голосом промямлил он.

– Стало, виноватый? – строго переспросил судья.

– Так уж...

– Чего же ты тогда и ехал? Небось, дома-то не женка с ватрушками.

– Какая женка! По дурости. Почему я знал, что за мной кулаки улепетнут...

– Да кулаки-то и не думали уезжать, – крикнул кто-то в конце барака. – Они все в лесу хрястали.

Синяков не выдержал.

– Кулаки и твердозаданцы не посмели уехать. Это верно. А вот такие, как Бережной, хотя и не кулаки, а лили воду на кулацкую мельницу.

Судья постучал о столешницу.

– Ты подожди, Синяков. Ты своё доложил, нынче дай другим высказаться. Кому слово дать, граждане?

К столу, скрипя деревяшкой, прихомулял десятник Иван Иванович. Он подумал малость, расправил усы, пригладил ладонью взъерошенные волосы.

– Ежели по политике, то виноват Егор, слов нет. Ишь как получается: люди дорогой, а Егор стороной. Он сам большой, ему никто не указ. Так, Бережной, далеко не уедешь, поверь мне, хоть Рыжко у тебя и борз на бег. Вот так. Но опять, скажем, и другое нельзя забывать. На работу-то он спор. Силы не жалеет и поту не щадит...

Иван Иванович развел руками, мол, как тут рассудишь, и пошел на место. К столу протискался Паша Пластинин. Его конопатое, будто усеянное льняными семечками лицо горело. Он весь кипел, осуждая Егора, а заодно и Ивана Ивановича.

– Вы, Иван Иванович, находите ему оправдание, работать, мол, спор. Спор. И что ж из этого? Для кого он спор? Для себя. Кулацкий в нем душок, вот что я скажу. И нечего по-оппортунистически вилять: с одной стороны, вроде черный, а с другой – будто и белый. Бережной заслуживает наказания по одному тому, что он первый пошел против течения... Правильно я говорю, ребята?

Он обернулся в угол, где сидела молодежь. Его поддержали. И вдруг сквозь шум послышался голос.

– Во имя отца и сына и святого духа...

От двери протискивался в барак мужик в азыме и длинноухой шапке. Борода его искрилась куржевиной. Он истово перекрестился, осмотрел барак, снял

шапку, поклонился и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Что же это такое делается на свете? В праздник христов работай, а ежели отпразднуешь, тебя судят...

Судья, заслонясь от лампы рукой, всматривался в полумрак барака, стараясь разглядеть вновь прибывшего. Узнал. Постучал о столешницу.

– Семен Афанасьевич, ты у нас порядок не нарушай. Зашел, так садись. Сказать хочешь, спросись.

– Чего мне спрашиваться, я уж все сказал. А тебе бы, Василий Ильич, не к лицу против бога судить, ты ведь крещеный.

Семен Бычихин, сосновский пчеловод и церковный староста, укоризненно смотрел на судью, очищая широкую бороду от куржевины.

Судья смутился, без нужды стал перебирать какие-то бумаги на столе. Потом, оправясь, рассердился.

– Нечего меня крещеньем пугать, все мы крещеные. Не о том сказ. За другое судим, за нарушение общего постановления. Понятно тебе?

– Не шибко понятно, да что сделаешь. Бога нынче вы не слушаете, меня и подавно не слушаете...

– Давай, Семён Бычихин, в другом месте советуй, – хлопнул судья ладонью о столешницу. – Будет кто ещё говорить?

– Чего говорить, и так ясно, – ответили из угла.

– Тогда, устроим перерыв. Суд будет советоваться, – сказал судья.

### 3

Судьи ушли в сушилку, прикрыли за собой дверь. Вскоре они опять появились за столом. Барак притих. Судья расправил замусоленный лист бумаги, сделал попытку читать по слогам, но разбирал с трудом, путался. Бросил бумагу, вытер пот на лбу рукавом.

– Лучше скажу без бумаги. Не по моим глазам эти каракули...

– А кто же их накарякал? – с ехидцей спросили из угла.

Судья виновато поморгал.

– Сам, кто... Пером оно, брат, не топором...

После небольшой паузы другим, строгим голосом судья сказал:

– Мы присудили тебе, Егор, – он опять взял бумагу, отыскал глазами нужное место и выговорил раздельно, по слогам, – об-щест-вен-но-е по-ри-ца-ни-е. Чуешь?

– Чую, не глухой.

– И вперед так не делай. Понятно? Вот и весь суд.

Вот и весь суд. Но об этом суде в Сузёме разговоров было на целую зиму. Егор ходил с опущенной головой, боялся взглянуть людям в лицо. Даже приезд

Макоры не оживил его. Макора приехала рано утром встревоженная, разыскала Егора у конюшни.

– Егорушка, что суд-то?

Бережной ответил сдержанно, суховато:

– Отбрили, как положено... Общее порицание какое-то дали. Лучше бы уж посадили в холодную...

Макора пригорюнилась.

– Ой, Егорушко, а что же нынче будет с этим...

Она не смогла сразу выговорить незнакомое слово «порицание».

– Что будет? – переспросил Егор. – А ничего не будет. Все станут смотреть, как на каторжника, вот и сохни...

– Какой же ты каторжник! Ты ведь хороший...

– Для кого, может, и хороший...

Егор легонько обнял Макору за плечи. Она было подалась к нему и сразу же отстранилась, стала поправлять платок.

– А вот для тебя завсегда нехороший, – закончил Егор вздохнув.

А она уже стала такой, как всегда, – и будто ласковой, и чуть насмешливой, – протянула руку.

– Прощевай-ко покудова, Егор. Мне некогда долго лясы точить. На склад надо ещё завернуть, продукты все вышли на котлопункте.

Уехала. Егор стоял столбом и смотрел ей вслед.

– Вот девка! Пойми такую. Женишься, даст бог, сам не рад будешь.

Рыжко оглядывался на хозяина, словно недоумевая, чего же так долго он не садится на сани.

#### 4

Вечером около конюшни крутился Синяков. Он явно поджидал кого-то. Только успел появиться Егор, Синяков подошёл к нему.

– Бережной, я к тебе. Слово сказать.

Егор не повернул головы. Он внимательно рассматривал сухую мозоль на спине Рыжка, будто впервые её увидел. Ответил глухо:

– Говори.

Синяков тоже заинтересовался лошадиной мозолью, потрогал её пальцем.

– Сердишься, поди? – спросил он тихо и сам же ответил: – Как не сердишься. А я ведь не по злобе...

Егор не спеша распрягал Рыжка: растянул супонь, вывернул дугу из гужей, освобождая чересседельник, держал в руке конец оглобли.

– Ты вот что, Синяков, оправдываться тебе нечего. Тебя никто не судит. А меня уж судили... Выдюжу как-нибудь, ладно. Только с тобой, Синяков, лучше

бы нам не видеться...

Забрав сбрую, он повел Рыжка в конюшню.

Синяков постоял, подумал, для чего-то потрогал оглоблю Егоровых саней, торчащую вверх, и пошел в поселок. Длинные полы его казакина хлопали по голенищам валенок. Может, поэтому Синяков сильно раскачивался на ходу. Егор с сенника увидел долговязую фигуру председателя, подумал: «Нескладно у меня выходит. Вот и этого обозлил, А зачем? Сам ведь виноват. Была нужда уезжать из лесу. Эка сладость дома! Кто хошь будь на месте Синякова, по головке не погладил бы. Это да...»

Егор машинально сбросил вниз охапку сена, помедлил, сбросил другую.

«А мне что – кланяться ему, пощады просить? Того недоставало! Не старый режим, а он не волостной старшина. И я не верноподданный...»

Егор набрал еще охапку сена, стал спускаться по лестнице.

«Ишь, как получается – заколдованный круг. И не разберешься. Ну да ладно, что было, то было, обратно не вернешь...»

Аккуратно сложив сено в ясли Рыжка, Бережной подмел голиком вокруг сенника, припёр дверь в конюшню колышком. Опять взглянул на поселковую улицу. Синякова там уже не было. На сугробы поперек свежемятой дороги падали желтые полосы света из барачных окон. Трусаящая рысью вдоль улицы лошадь с дровнями то ныряла в сутемень, то появлялась на свету.

– Поздно уж стало, – вздохнул Егор, постоял около угла конюшни и направился в барак.

### *Глава седьмая*

## **ТАЙНЫ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА**

### **1**

Весной Егор вернулся из Сузёма. Приехал домой и Митя. Умывшись и причесав непослушные вихры, он сидит на лавке у стола, довольный первой поездкой по деревням. Рассказывает о своих впечатлениях. Ему приятно, что домашние нынче относятся к нему по-иному. Вот и дядя Егор сидит напротив, с другой стороны стола, и смотрит на племянника уважительно, уж не как на мальчишку, а как на взрослого и стоящего человека. Митя старается держать себя солидно, с достоинством, положенным механику. Стремясь выразиться проще и доступнее, он снова и снова рассказывает дяде о принципах действия киноаппарата. Ничего в нём нет ни волшебного, ни таинственного, а всё основано на законах механики и оптики. Егор понимает премудрости киномеханики не очень, но делает вид, что понимает. И под конец все подытоживает одной фразой.

– Удивление какое! Выдумают же...

Помолчали. В избе тихо. Только негромко посапывает Митина мать в закутке да за печкой шелестят тараканы на стене.

Егор снял со спицы свою шапку, но не надел, а мял в руке. Видно, хотел что-то сказать, да не решался. Митя вопросительно посмотрел на дядю.

– Митюша, ты мне дай-ко совет, – сказал Егор, опустив глаза. – Как ты думаешь, стоящее заделье кожи дубить?

– Кожи? – Митя явно озадачен. – Я, дядя, в кожах не разбираюсь. Всякая работа...

– Вот ежели я чан заведу, буду шкуры квасить и кожье выделывать...

– Да ты умеешь ли?

Егор мнется, тербит мочку уха.

– Научусь...

Митя смотрит на дядю и начинает понимать, откуда дует ветер. Он кивает головой.

– Научиться всему можно. Что ж, если ты пойдешь в колхоз, там кожевенное дело наладишь, неплохо будет. Крестьянам кожи нужны. Думаю, мысль правильная, – говорит Митя, постукивая пальцами по столу.

– Так... Ну ладно, посмотрим...

Егор натягивает шапку, встает.

– Ты завтра в потребилку хотел идти, – говорит Митя, провожая дядю. – Пойдешь, так кликни, мне тоже надо, керосину у матери не стало.

## 2

Племянник с дядей идут по селу мимо поповского дома. Там слышатся песни, пьяные выкрики, топот.

– Ишь, батя празднует, – усмехается Егор и останавливается, услышав стук в раму. – Нам, что ли, стучат?

С крыльца скатывается отец Евстолий, круглый, наливной, как яблоко, немножко под хмельком.

– Егор Павлович, зайди ко мне, милости прошу.

Бережной разводит рукой, в которой держит керосиновый бачок на веревочке.

– Благодарствую, отец Евстолий. Видишь, я в лавку отправился.

– Ничего, ничего, ты уж зайди, не куражься. Не обижай отставного попа...

Егор вопросительно смотрит на племянника. Тот чуть заметно пожимает плечами.

– И вы, молодой человек, зашли бы, – кланяется поп. – Я зла на вас не несу, понимаю...

– Нет, спасибо, – с достоинством отвечает Митя. – А ты, дядя, если хочешь, иди, я подожду у крыльца.

Дядя ушел. Митя стоит в сенях, поеживаясь от холода. Вдруг дверь распахивается – и появляется ражий детина с глазами навыкате, с мокрой реденькой бороденкой, в которой застряли крошки и кусочки рыбы. «Да ведь это пустынский поп Сергей», – узнает Митя, и ему становится не по себе. Поп пьян и шатается. Подходит к Мите, покачнувшись, опирается на его плечо, смотрит в упор.

– Вы, что ли, редактор стенгазеты? Да?

– Да, – отвечает Митя, пытаясь отстраниться.

– А я поп Сергей, которого ты прохватил. Чуешь? Тот самый поп...

Мите вспомнилась заметка. В ней пустынский пастушонок писал, что их грубый и хамовитый пастырь не скрывает своей неприязни к советской власти. В проповедях с церковного амвона он ругая ругает нынешние порядки, утверждая, что всё проводимое властями противно богу и на руку сатане. В одной из проповедей он убеждал верующих, что скоро наступит кончина мира. Заметка едко высмеивала отца Сергия и заканчивалась так: «Отец Сергей прав. Кончина мира, действительно, скоро наступит. Но это будет кончина мира поповского». Вспомнив это, Митя улыбнулся. Поп помахал волосатым пальцем перед Митиным носом.

– Ты должен извиниться. Слышишь, редактор? Передо мной, перед попом... А? Что? Ты еще жидок, молокосос, против меня тягаться. Поп я, так что? Ты думаешь, у меня защиты нет?

Сергий загнул широкие рукава лиловой рясы.

– Есть у меня защита. Сам председатель исполкома – мой племянник. Я ему написал: «Желторотые обижают». Да... Он говорит: «Не смеют! Приму меры». Извиняйся, пока не поздно.

Он попытался схватить Митю за ворот.

– Вы ко мне не прикасайтесь, подальше руки, – сказал Митя. – Вы пьяны и мелете чепуху. Никто перед вами не станет извиняться.

– А! Не станет! – отец Сергей качнулся вперед, замахнулся кулаком и вдруг сник, лицо сморщилось, он всхлипнул.

– За что вы, молодой человек, обижаете бедного попа? Что я вам сделал? Вы уж вперед меня не трогайте. А племяннику я напишу, чтобы он не сердился на вас...

Это навязчивое упоминание попом племянника Мите показалось подозрительным. Запугать батя хочет. Ишь, нашел племянника!

– А как его фамилия? – спросил Митя.

– Фамилия? Говоришь, фамилия...

Видно, не запомнилась бедному попу фамилия председателя исполкома, и

поэтому он рассвирепел, замахал кулаками, но задерживаться не стал, пошел в дом. С порога погрозил Мите.

– Я тебе покажу фамилию!

Только отец Сергей исчез, появился Харлам Леденцов. Жесткая его шевелюра была взлохмачена, глаза мутные, бабочка усов сердито взъерошена. «Этот схватит – и пискнуть не успеешь», – подумал Митя. А Леденцов прямо к нему.

– О! Кажется, сам редактор стенной газеты...

У Мити по спине пробежал холодок, но он взял себя в руки и сколь мог твердо и даже с вызовом ответил:

– Да, редактор.

Псаломщик подошел вплотную, изо рта его пахло водкой, Митя приготовился к обороне, весь напряжился. А Харлам вдруг неожиданно тихо произнес:

– Правильно ты его, правильно. Крепче бы надо.

Митя недоверчиво насторожился: этот с подходцем. А Харлам нашептывал на ухо:

– Сука он, Серега-то... С рождества в Пустыне канителюсь, а согрешил с ним проклятым. Пойдем ругу<sup>1</sup> собирать или за крестины там либо за похороны – станем делить, он загребает себе, оставляет крохи, завидушие его глаза. Я говорю: «Надо по-божески». Он отвечает: «Не твоё дело». А ведь я псаломщик, чин имею... Ты его прокати, прокати в газете-то... Только про меня ни гугу...

Псаломщик покачнулся, ухватился за поручень лестницы, грузно стал подыматься. На верхней ступеньке обернулся, помаячил растопыренными пальцами.

– Ты его покрепче... Серегу-то...

### 3

Ефим Маркович ходил около разрушенной мельницы, убеждал Егора.

– Тут, вовсе сказать, немного дела потребуется. Крышу стружкой залатаем, чаны расставим внизу, водосток поправить можно – воду не носи, сама пойдет. Вымачивать кожи будем там, под стланью. Завернем мы с тобой, Егор Павлович, дело. Вот сказать, широкое, прибыльное. И ни сельсовет тебе, ни фин-агент носу не подточит. Чуешь?

Бережной молчал, подбирая раскиданные мельничные гири, рыжие от ржавчины, складывал их рядом у разбитого постава, поправлял перекосившиеся половицы, прибил вывороченный дверной навес. О чём он думает, Ефим Маркович не старался разгадать, удовлетворенный Егоровыми стараниями, от-

---

<sup>1</sup> Руга – плата церковному притчу за требы – зерном, яйцами, шерстью, сметаной.

мечал про себя: мужик хозяйственный, не балаболка и прост душой. С таким можно будет ладить.

Первые весенние ветерки разнесли над речушкой Лисёнкой терпкие запахи дубленых кож. Мужики, едучи на Погост, останавливали лошадей у старой мельниковой избы, заходили в кожевню.

– Ну и кисло у тебя, Ефим Маркович, будто сто мужиков спали, нахлебавшись простокваши, – говорили они, посмеиваясь.

Ефим Маркович в тон им отвечал:

– Дак простокваша – коровий продукт, худо ли... Принюхаешься и, вовсе сказать, добро...

Стараясь попервоначально не дышать, мужики осматривали чаны, наблюдали, как Егор, засучив рукава, очищает особого устройства скребком мездру на коже, пристегнутой костыльным к потолку. В ходу и рука и нога, продетая в петлю веревки, привязанной к скребковому устройству. На лбу пот, зубы ощерены от натуги.

– Кожа, она прилежания требует, – рассудительно говорили мужики. И волокли из возов кто коровью шкуру, кто опойка<sup>1</sup>, а кто и бычий кожух толщиной, почитай, в два пальца. Подошвы из него выйдут на век без износу.

Ефим Маркович небрежно раскидывал кожи по полу, косил глазом на мездру, потом обдавал владельца шкуры белесым взглядом и говорил равнодушно:

– Попробуем, что получится...

– Подошвенная выйдет ли, Ефимушко? – искательно спрашивал мужик.

Кожевник с нарочитой грубоватостью отвечал:

– Твоя шкура толста, да мездра в два перста. Чуешь? Умело выделявать надо. Особая канитель с ней, вовсе сказать, требуется...

– Ты уж постарайся, Ефим Маркович, за мной не пропадет.

– Знаю, знаю, лаптем по шее огреешь при удобном случае.

Оба хохочут. Ефим Маркович странно моргает простоквашными глазами.

Егор вытирает пот со лба, ищет в кармане штанов кисет, садится на тюк кож. Возясь со шкурой, Ефим Маркович сопит носом, уже посматривая на Бережного недовольно. Но, наконец, не выдерживает.

– Часто же ты куришь, Егорушко. Цигарку за цигаркой, вовсе сказать, крутишь...

Егор долго и аккуратно зализывает цигарку: газетная бумага склеивается плохо. Прикурив, он ровной струйкой выпускает дымок и только тогда отвечает.

– Табачок свой, так хоть у попа стой.

Ефим Маркович резко бросает шкуру в угол.

---

<sup>1</sup> Опоек – шкура, снятая с теленка.



– Не выйдет у тебя толковой подошвы, – говорит он сердито мужику, – свищ на свище. Заморил быка-то...

Мужик чешет в затылке.

– Может, и выберется?..

Когда мужик уходит, Ефим Маркович вновь разворачивает шкуру, ощупывает мездру, смотрит на свет. По губам скользит довольная ухмылка. Заметив пристальный взгляд Бережного, делает равнодушное лицо и начинает насвистывать церковную песню: «Свете тихий, святая славы...»

Егор тушит Цигарку о каблук сапога и принимается за работу.

За лето кожевники изготовили целую гору кож. Тут были и подошвы, упругие, прочные – носи не износишь, и мягкий хром с черным лиловатым гляncем, и рыхлая сыромять на шлеи, на гужи, на кнуты и чересседельники, а больше всего грубой на вид, да крепкой на износ русской кожи, которая охотно пьёт дёготь и не боится воды. Из неё крестьянин мастерит себе сапоги, жене полусапожки, а на рабочую пору – в лес, на сенокос, на поле – уледи, легкие, ноские, не пропускающие мокрети. Ефим Маркович брал за выделку чем ни попало: мукой и салом, сеном и холстиной, дичью и пахучим медом. Не брал только кожей. И Егор Бережной был немало удивлен, когда под осень при расчете в пай ему были выделены кожевенные товары.

– Это как выходит? Непонятно что-то...

Ефим Маркович шмыгнул носом.

– Ты чего? Дают, так бери.

– Откуда кожи взялись? – сдвинул брови Егор.

– С неба попадали, – хохотнул Ефим Маркович. – Ты, Егор, всё одно, что младенец. У хлеба ведь не без крох. То же и у кожи, вовсе сказать, крохи получаются. А мы их сгребем да себе на сапоги. Вот как.

Егор решительно отодвинул ногой предназначенный ему кожевенный товар.

– Я, Маркович, не возьму. Ты как хочешь, а мне чужого добра не надо.

Белые Ефимовы глаза остекленели. Но он сдержался, сжал зубы, наклонился, подобрал Егоров пай и кинул в угол.

После этого случая Егор долго ходил сам не свой. Раздумывал, укорял себя, но в конце концов решил, что это его не касается, ведь он за Ефима не ответчик. А кожевник с той поры стал осторожнее, не посвящал своего подручного в темные тайны кожевенного ремесла.

### *Глава восьмая*

## **ПЛАТОНИДИНЫ ЧАРЫ**

Платонида выходила к богомольцам в черном монашеском балахоне, в черном же платке – ни дать ни взять святая великомученица Параскева-Пятница с иконы, повешенной у входа в сени. Богомольцы сперва крестились на икону, шепча молитвы великомученице, а потом, увидев Платонида, крестились и на неё, шепча те же молитвы. Умиленно закатывая глаза, Платонида осеняла их крестом и пропускала в сени. Там богомольцы снабжались святой водой, гнилушками от гроба господня, просфорками из «сутолоки», муки, молотой из смеси ржи и овса, тонкими свечками, которые горят с чадом и треском. Выходили богомольцы из сеней умиротворенными, оставив там вместе с душевными печальми кошелки муки, туюски масла и сметаны, узелки пирогов и шанежек. Платонидин лик, изжелта-прозрачный, будто вылитый из пчелиного воска, светился благостно и кротко.

Егор диву давался, видя, с какой быстротой превратилась соседка из простой грешницы в преподобную святошу. И у него самого, когда она строгим оком взглядывала, неодобрительно поджимая губы, появлялась робость. Над верой в бога Егор как-то раньше не задумывался, изредка ходил в церковь, потому что все ходили, садясь за стол, крестился, потому что все крестились, по воскресеньям зажигал лампадку перед образами, потому что все зажигали. А не стало церкви, он о ней не грустил, перестали говеть, и он перестал, не вдаваясь в размышления. А тут под боком святая объявилась, поневоле задумаешься, что и почему. Самому разобраться в столь сложных делах ему оказалось не под силу. Он при случае испытывал отца Евстолия.

Безработный поп жил тихо, ходил по-прежнему в рясе, только без нагрудного серебряного креста. Ему нарезали за Погостом обычный крестьянский надел, и батя начал заметно худеть от нелегкой мужицкой работы. Уж подобрался живот, зашершавились ладони, и лицо потеряло мягкую округлость, стало грубеть и покрываться морщинами. Егоров вопрос о Платониде заставил отца Евстолия задуматься. Поковыривая носком сапога землю, он сказал:

– Всё от бога, Егор Павлович, всё от бога...

– Неуж, батюшка, она святая? Знаю ведь я её, соседка...

Отец Евстолий потупил глаза.

– Бывает. Всякое бывает. Мария Магдалина даже блудницей была, а ко господу припала и уподобилась...

Хоть не вполне убедил Бережного отец Евстолий, а всё же слова его не остались втуне. Егор старался заглушить свою неприязнь к Платониде. Кто её знает, может, она и впрямь угодницей становится. От острого Платонидино взгляда не ускользнула эта перемена. Она поняла – парень поддается, надо не зевать, уловить его душу. Однажды она подошла к нему тихая, скорбная.

– Все ты вздыхаешь, соседушко, сумрачный шибко. Тоска-печаль тебя гры-

зет, замечаю. Помолись богу-то, всевышнему, не жалея-ко поклонов, всё пройдет, родимый...

Егор посмотрел на соседку, ничего не ответил, стал прилаживать защелку к воротам санника<sup>1</sup>. Платонида покачала головой, благословила его спину.

## 2

Успенев день, осенний крестьянский праздник, весел и широк. Сено – в стогах, хлеба – либо в скирдах, либо на гумне, можно и погулять. Небо заволокло. Но солнышко, ещё жаркое и веселое, нет-нет да и проглянет между туч. И тогда Сосновка будто засмеётся вся, засверкает окошками изб, зацветет расписными мезонинчиками, выставит напоказ наличники в затейливой резьбе – нате, люди добрые, любуйтесь! Хорошо стоять Сосновке на вершине высокого холма, открытой со всех четырех порой. Всё видно, куда ни погляди. И всё близонько, рукой подать. За реку посмотришь – кресты пустынской церкви блистают ещё не облинявшей позолотой, вверх по течению глянешь – железнодорожный мост, что кружевной шарф, перекинулся через речной простор. С противоположной стороны у подножия холма вьется крутыми петлями малая речка Лисёнка, на ней мельница с полуразрушенной запрудой. Оттуда тянут кисловатые запахи Ефимовой кожевни. А за мельницей у полевых ворот неширокая полянка среди ольховника да вересковых кустов. Это – излюбленное место сельских гулянок. В праздник к полудню полянка пестра от девичьих лазоревых платков да полушалков, цветистых сарафанов, вышитых кофт. Девушки сидят и стоят полукругом, поют песни, покачиваясь в такт напеву, протяжные, многоголосые, подмывающие сердце. И вдруг, изменив напев, зальются лихой частушкой, веселой и озорной. Ребята – поодаль, кто где, небольшими группами, с гармошками. Играют не поймешь что – писклявые голоса тульских тальянок и басовитые вятских гармошек переплетаются в невероятной сумятице с бархатистыми голосами венских полухромов. Но это ничего, орали бы гармони, а пляска будет.

Вот от девичьего полукружья отделяется одна, плывет павой по лужайке. В руке у неё белый платок. С особой церемонностью она взмахивает им и легонько ударяет по плечу приглянувшегося кавалера. Уплывает на место ровными мелкими шажками, не покачнувшись, строгая и важная. Вслед за ней выходит её подруга и также приглашает платком своего кавалера. Минуты две красавицы стоят рядом, ждут. Парни, будто нехотя, встают, вразвалочку идут к своим партнершам, делают первый круг, не глядя на девиц, с напускным безразличием. Потом подхватывают девушек под руку и начинают кружиться.

---

<sup>1</sup> Санник – сарай для саней и телег, часто ставится в виде пристройки к скотному двору.

А поодаль, в тени ольшаника, сидят бабы, судачат, перемывают косточки отсутствующих соседок, не забывая одним глазом наблюдать за молодежью, примечать и строить догадки. У изгороди на бревнах расположились мужики, курят, тешатся побасками, одна другой солонее, толкуют о предстоящей мольбе, о зимнем извозе. А кругом шныряют неугомонные ребяташки, барахтаются в кустах, лазят по изгороди, кидаются шишками. Им всюду есть дело, они не оставят в покое ни старую елку, поднявшую над пригорком мощную остроконечную крону, – доберутся до самой её вершины, ни глубокий родник, чистый и студёный, вода которого так вкусна, что пил бы и пил её без конца, если бы не столь она холодна, что ломит скулы. Вокруг родника на вересковых кустах повешены берестяные черпачки – подходи и пей. Они не бездействуют – на вольном воздухе, под солнцем человека долит жажда. И во время гулянок не бывает такой минуты, чтобы кто-нибудь не склонился над родничком. Мочажину эту издавна в народе прозвали «квасником».

### 3

У Егора Бережного оплетенная медью, украшенная зеркалами голосистая тальянка с вышитым нарукавником и с многоцветными кистями. Он играет, склонив голову и отрешась от всего мира, однообразный, всё время повторяющийся мотив. Он сам его придумал, разучил и играет только его, другого не умеет. Так все сосновские парни. У каждого есть своя игра, только он играет так и никто другой. Сосновских гармонистов узнают по игре.

Егор вздрогнул, когда белый платок ударил его по плечу. Тальянка в нерешительности замолкла, но через мгновение зазвенела с новой силой. Повернув голову, Егор увидел Макору, удаляющуюся плавным шагом. Он подождал, сколько требовалось, передал тальянку приятелю и, не спеша, будто нехотя поднявшись, вышел на полянку. Макора улыбнулась ему чуть заметно, одними уголками губ. Егор сделал круг, другой, подхватил Макору под руку и закружил её так, что над лужайкой поднялся вихрь. Бабы заахали, мужики поднялись с бревен. Макора, разрумившаяся, с сияющими глазами, перешла в ровный и плавный пляс, кругами уходя от Егора. А он вприсядку, сбив свою кепку набекрень, выплясывал за ней отчаянные колена. Казалось, будто ноги его не касаются земли, летит он по воздуху, сильный и легкий. А рядом другая пара старается не отстать в пляске от Макоры и Егора.

Плясали долго, насколько хватило удали. Последний круг делали изнеможенные, медленно, шагом, вразвалочку. Наконец, плясуньи остановились на том месте, с которого начали. Парни стали против них. По обычаю кавалеры вынули из карманов аккуратно сложенные платочки и вытерли губы. То же сделали и девушки. Не прикасаясь друг к дружке руками, они наклонились и

троекратно поцеловались, чуть прикладывая губы к губам. Всё получилось чинно и порядочно. Снова взвизгнули гармошки, новая пара девушек взмахнула платками, новые плясуны и с наигранной ленцей вышли на поляну.

Егор заметил, что кашемировый Макорин полушалок мелькнул меж кустов. Тряхнув тальянкой, он встал и направился в ту же сторону, к «кваснику». Родничок, пробираясь сквозь мох и осоку, скатывался в лог и бежал дальше, говорливо булькая, набирая силы. Там, где лог расширялся, словно раздвигая отлогими скатами веселый березняк, родниковая струя встречалась с другой такой же и мчалась дальше уже малой речонкой. А вокруг неё мягкая луговина лоснилась свежей зеленой отавой, на которой то тут, то там горели золотисто-желтые – березовые и красные – осиновые листочки, сорванные ветром.

Макора остановилась, подняла березовый листок. Егор тоже остановился, взял гармонь под мышку.

– Быстронога ты шибко, не догонишь, – сказал Егор.

– А и догонять нечего, – ответила Макора.

Парень потоптался, поискал каких-то круглых да мягких слов, не нашел и выпалил прямо:

– На днях свататься буду. Пойдешь ли?

Макорино лицо стало строгим, безулыбчатым. Она вскинула ресницы и опустила их. Сказала тихо, одними губами:

– Кислые кожи считать?

Егор не понял. Он шагнул к ней, даже не заметив, что тальянка, выскользнув из-под локтя, упала в траву. Макора увернулась, со смехом указав на гармонь.

– Подними, отсыреют голоса-то...

Березовый лист, кинутый Макорой, пристал к Егорову плечу. Бережной машинально взял лист за стебелек и крутил между пальцами. Сам глядел на тальянку, валявшуюся у ног. А Макорин кашемировый полушалок уже мелькал за «квасником».

– Чертова девка, – пробормотал Егор, поднял тальянку и так развернул, что меха выгнулись дугой.

На опушке леса стояла Платонида. Она, смиренно поджав губы, с состраданием смотрела на Егора, поклонилась ему истово, с почтением.

– Здравствуешь, Егорушко. Каково гуляешь?

Егор легонько кивнул, продолжая играть с надрывом, вздохом. Когда он прошел, Платонидино лицо расплылось в довольной усмешке. Шепча про себя, она мелкими шажками пробиралась по тропке, поминутно крестясь. Увидев черную Платонидину фигуру, девчата оборвали песню, сделали постные лица и сидели, уставясь в землю, будто самые первые скромницы на земле. Женщины завздохали, некоторые стали креститься. Платонида сурово глянула на деву-

шек, поклонилась женщинам. А ребята, не обращая внимания на праведницу, продолжали наяривать на своих разномастных гармошках, кто во что горазд. Самые отчаянные, будто нарочно, грянули частушку, такую забористую, что даже мужики крикнули. Платонида пронесла свое тощее тело невозмутимо, словно её уха, прикрытого черным платком, не коснулись крепко закрученные слова. Она только подняла руку и благословила парней широким благочестивым крестом.

#### 4

Перезрелая дева Параня плохо спала по ночам. Разматывается на жаркой пуховой перине, вздыхает, обнимает подушку. Жениха бы надо, а его нет и нет. И телом она крупитчата, и лицом румяна, и в платьях ей от батьки отказу нет, и приданым стоило бы прельститься жениху, – почему они, женихи, не видят всего этого, не замечают, трудно уразуметь. Маётся Параня ночи, грустит вечера, а и днем не сладко, когда смотрят на тебя и думают: «Перестарком ты, девка, становишься». Того и гляди начнут величать старой девой. А кровь девичья бурлит, и сны видятся такие, что хоть вой-кричи.

Паранина мать испробовала все извечные способы приманки женихов – попусту. Опоздала, видать, пропустила сроки. Как дочери помочь, ума не приложишь. И надумала мать сходить к Платониде: говорят, она божьей благодатью тронута. И верно, не успела Паранина мать произнести три слова, Платонида сама всё ей высказала – зачем пришла и чего хочет. Прозорливая, как есть прозорливая!

– Не убивайся попусту, молись богу да не бойся приносить ему от щедрот своих, всевышний и поможет. Девка твоя не кривая, не хромая, не шадровитая. Найдется жених, коли смилостивится отче наш всеблагий и всеправедный.

Платонида велела сходить Паране в ночь под четверток, после вторых петухов ко «кваснику», зачерпнуть водички от самого дна туеском, в котором семь дней сидела мышь с обрубленным хвостом. Эту воду Платонида освятит, даст, кому надо, попить али окропит при удобном случае и тем присушит к Паране какого хочешь жениха.

Параня не побоялась ночи, сходила ко «кваснику», добыла водички со дна, принесла её Платониде. Та поставила туесок перед образом Парасковы-Пятницы, прилепила к его краю свечку, затеплила её, стала молиться, приказав и Паране встать на колени. После молитвы Платонида отлила водички в малый стеклянный пузырек и велела при случае незаметно брызнуть на того парня, которого хочешь присушить.

– По сердцу ли, по душе ли будет тебе, кралюшка писаная, парень видный, дородный, работающий, сосед мой Егор Бережной? – спросила Платонида.

Параня поужималась, потерябила концы полушалка, ответила:

– Шибко гожд...

И стеснительно засмеялась.

– Его и окропи святой водой родниковой, твой будет.

Сама не своя улетела Параня от Платонида, отлила дома родниковой водички в другой пузырек и дала его матери с наказом покропить тайком на Егора Бережного. Мать поделилась водичкой со снохой. Ой, Егор Бережной, дивиться тебе и дивиться, отчего это появляется мокреть то на пиджаке, то на рубахе.

## 5

Вечером после гулянки у «квасника» Макара плакала в чуланчике на повети. А Егор жадно тянул пиво из Платонидиной ендовы и сам удивлялся способности столько выпить за один присест. Ефим Маркович подливал в ендову, а Платонида потчевала.

– Пей, Егорушко, ты ведь правнук Афоньке Бережному...

По рассказам деда и отца, а немножко и по личным детским впечатлениям, Егор помнил своего прадеда. Тот жил в Емелькином Прислоне, версты за три от Сосновки. Дважды в год гостил он у внука Павла – в день вешнего Егорья и на Успенье, осенью. Спозаранку, не привернув, пройдет на Погост, к обедне, а уж от обедни направляется в гости. К тому времени на подоконнике раскрытого окна у Павла приготовлено угощение: ведерный ушатик забористого пивка. Афонька подходит к окну, говорит:

– С праздником вас, внук мой, внученька и правнуки с правнучками...

Мать из-за ушатика в окне кланяется, поёт:

– Кушай-ко на добро здоровье!

Старый берет ушат, припадает к нему и ставит обратно на подоконник только тогда, когда посуда опустеет. Закончив питиё, Афонька крикает, разглаживает усы, кланяется.

– Благодарствую за угощеньице.

И идет восвояси. Вот как было.

Егор раздувает пену, колпаком нависающую на края ендовы.

– Ну, где мне с прадедом тягаться, с Афонькой! Слаб брюхом...

Слаб-то слаб, а в ендове остается только гуща на доньшке. Ефим Маркович подливает снова, смеется.

– Пей пива больше, брюхо будет толще...

Бережной мотает головой, отнекивается. Его уже начинает развозить. Язык заметно заплетается.

– Нет, за прадедом Афонькой мне не угнаться, – говорит он. – И брюхом... и духом... хиловат я. Ишь, и язык охромел.

– Да что ты, Егор Павлович, – тянет Платонида, придвигаясь ближе к гостю.  
– Такой справный парень, одно загляденье. Любая девка за тобой побежит. От девок-то ведь тебе, поди, отбою нет...

Ох, не растравляли бы лучше сердце парню! Он осоловелыми глазами уставился на Платониду.

– Любая? Девка?..

Встал. Пошатнулся. Собрал всю силу, чтобы удержаться.

– Девка?.. Любая?..

– Да ты сядь, Егорушко, – ухватила его Платонида за рукав. – Посиди, в ногах правды нет...

Егор послушно опустился на лавку. Платонида придвинулась к нему вплотную, зашептала:

– Ты нам не чужой, Егорушко. Хоть и не ближний, а всё родственник. Сердце иссохло, на тебя гляючи. И чего ты привязался к ней, к Макорке-то! Была бы хоть богата да с приданым. А то... Да и неуж ты не видишь, светик наш, что она над тобой потому изгиляется, что неровней тебя своим хахалям считает...

– Хахалям? Ты чего такое, Платонида, сказала?

– А то и сказала, что есть. Мало ли конюхов-то на базе в Сузёме...

С Егора слетел хмель. Он провел ладонью по лицу, будто стараясь сбросить с себя хмарь. Отодвинулся от Платониды вдоль по лавке.

– Благодарю покорно за угощенье. Ходите к нам...

Твердо, не шатаясь, вышел. Платонида мелконько засмеялась.

– Как его оглушило. И хмель, как с гуся вода.

– Ты знаешь, какое место прищемить. Самое пущее, – хохотнул Ефим Маркович. Платонида шикнула на него.

– Уймись! Господь-бог помогает мне, ангели-хранители, честные угодники...

### *Глава девятая*

## **СВАТЬЯ СТУПАЕТ ЗА ПОРОГ**

### **1**

Правду ли, нет ли, а говорят, до тридцати лет жениться легко, после тридцати трудно. Егору до тридцати ещё далековато, а вот с женитьбой у него не выходит. Невеста бы и хороша, пригожа и любя, да не понять парню, почему она дает от ворот поворот. Неужели оставаться старым холостяком, жить бобылем, маяться, ворочаясь на жесткой постели? Вся Сосновка знает; о Егоровых ухаживаниях за Макорой. Даже ребяташки и те, завидя издали Егора, кричат:



– Макорин жених! Макорин жених!

Бережной добродушно усмехается и кышкает на ребятню.

– Я вам, соплелосые...

С ребятами-то разделаться просто, да этим дела не решишь. А задумается Егор о жизни всерьез, и тревожно становится на сердце. Сестра Лушка на выданье, мать остарела, еле ноги передвигает, надо, чтобы не осталась без всякого догляду. И с парнями уж в одной ватажке Егору стало водиться не в пору. Посмотришь, безусики кругом, птенцы желторотые. Егоровы-то сверстники в батьках ходят, бороды поглаживают. А он что – в бобыли записаться хочет?

Соседки судачат, Макоре косточки перемывают. И чего девка нос воротит, упустит вот экого парня, потом локти кусать станет, да поздно. Подбирают Егору невест, одну другой лучше. У каждой кумушки найдется хоть дальняя, да родственница, – и так хороша, и эдак прекрасна, пара бы Егору, хоть сейчас сватов засылай. Да вот не сватается, ходит меж девок и девок не видит.

А красавицы – и не только сосновские, но и из других смежных деревень – посматривают на парня, прихорашиваются, стараются привлечь его внимание – та улыбкой, эта взлетом бровей, иная легкой ступью, иная великой скромностью. Напрасно! Егор, что деревянный, сух и безответен. Шушукаются между собой девушки:

– Приколдовала его Макора, девки, вот и всё...

– Так чего же тогда сама губы поджимает?

– А она, девоньки, хочет, чтоб ни себе, ни людям...

Егорова мать не раз заводила тайный разговор с сыном. И жалела его, и уговаривала, и попреками донимала – ничто не берёт. Молчит, либо хмурится, либо улыбнется виновато и скажет:

– Почто ты, мама, горюешь. Парень – материн сынок, а мужик – женин пояс. Похожу ещё и в парнях, голову завязать – нехитрое дело...

Мать сжимает губы, смотрит на сына укоризненно-жалостно, качает головой:

– Ой, присушила она тебя, Егорушко! Лихо тебе будет. Как ты от неё оторвешься, не знаю. А оторвись, перестань на неё глядеть. И чего ты в ней увидел? Другие девки не хуже, а найдутся и почище её. Да и, грех сказать, люди бают: кто про неё ведаёт, как она там на лесной базе-то живет. Сама я не видела, не знаю, а уж людской-то говори шибко много. Может, и зря болтают, да и то: дыму-то, сынок, без огня не бывает...

У Егора под скулами ходят желваки, глаза темнеют, лоб перерезает морщина. Он молча слушает мать, очищая резную деревянную солоницу обломком стекла. Стекло, хрупнув, переламывается. Острый уголок впивается в палец. Зажав ранку, чтобы не выпустить кровь, Егор тяжело поднимается и начинает ходить по избе. Мать, охнув, кидается в кут, ищет там среди тряпок чистый

лоскуток для перевязки. На перетянута холстинкой пальце появляется и медленно расходится красное пятно.

– Эк не вовремя угораздило порезаться, – сетует Егор. – Кож в Ефимовой квасильне накопится, не перемнешь...

– Ну, подождут кожи, бог с ними. Ты уж похранись, не бери. От кожевенной грязи ещё заразу схватишь. Сходи лучше сегодня в потребиловку за солью, на исходе соль-то у меня. Да спроси, грибы соленые принимают ли. Три ушата насолила для продажи, да все не соберусь на Погост сбродить, ноги-то мои утлые, дома по полу и то худо передвигаются... Спроси-ко, буде берут, так унесешь, все лишняя копейка...

Мать принимается за свое печное хозяйство, Егор неторопливо одевается и идет на Погост.

## 2

У потребилки на рундучке место пусто не бывает. Зайдешь в лавку, купишь соли, спичек, табачишку, женке на платье, ребятишкам по гостинцу, как не присесть на рундучок, посудачить о том, о сём, послушать, что люди говорят, всласть затянуться свежей махорочкой. Едешь мимо, лошадь сама за угол тянет: останови, дай сена да присусежься к рундучку. Не в частом и быванье, посиди, покалякай минутку-другую, а то и часок. Так вот один к одному и собираются люди у крыльца потребилки. Есть и завсегдатаи рундучковых бесед, они, почитай, с утра до вечера тут, побасенками закусывают, слухами обедают, а на ужин, случается, и песню подхватят. В старое время такие мужичьи посиделки в церковной сторожке водились, а ныне её заменил потребиловкин рундучок.

Егор сделал покупки, вышел из лавки, незаметно присел на бревнышко за рундучком. Присел, да и сам не рад: разговор-то как раз о нём.

– Бабы сплетни, может, я в том не ручаюсь, только от самостоятельных людей в Сузёме слышал, не от пустобрехов, будто Макорка-то ему голову крутит, а сама над ним же изгиляется, – говорил Семен Бычихин, поглаживая бороду. – Парня-то прямо жалко, смирный он, работающий, не вертопрах...

– Такие чаще и попадают на удочку, – рассудил проезжий мужик из дальнего села. – Нынешние девки что – оторви да брось. Она глаза шурит и недотрогу из себя выказывает, ты втюришься по самые уши да ещё и выше. Она тебе чище богоматери видится, а отвернись на часок – и такое она навывторяет, что язык не поворотится сказать.

– Макорка, она экая и есть, – перебивает мужика Фишка Мизгирёв.

Приезжий недовольно смотрит на него: юнец, а в беседу взрослых встречается. Но Фишку строгий взгляд не остановит. Он, как ни в чем не бывало, про-

должает.

– Кто её не знает, Макору? В деревне не пожилось – в лес метнулась. А там, на базе-то, конюхи кровь с молоком, переходи, знай, от одного к другому...

Он не успел закончить. Страшный в своей ярости, с побелевшими щеками, Егор шагнул через бревно и, ни слова не говоря, поднял над Фишкой мешочек с солью.

Семён Бычихин схватил Егора за рукав.

– Что ты, парень, Христос с тобой, одумайся...

Фишка крикнул по-заячьи, увернулся от удара и побежал к: дому, голося на всю округу.

Бережной обвел всех невидящими глазами, потрянул рукой, освободил рукав из Семёновой горсти и направился по дороге к Сосновке.

### 3

По-разному люди думают. У одних дума, что весенний ручеек бежит, легко и быстро перебирается с камушка на камушек, позванивает струйкой. У других – будто широкая река, течет просторно, плавно, уверенная в себе, гордая глубиной и полноводьем. Третьи думают, словно жернова ворочают. Их дума похожа на пруд: сперва вода копится, помаленьку, потихоньку, поднимается, заливая берега, тяжело напирает на плотину и уж когда переполнит запруды, с шумом-грохотом обрушивается на лопасти мельничного колеса. Первых зовут легкомысленными, вторых – рассудительными, третьих – тяжкодумами. Егор был тяжкодумом. И Платонида злая напраслина, ловко пущенная по миру, оказалась той каплей, которая переполнила пруд. Не поверил ей Егор, как не верил всем сплетням и наговорам о Макоре. Но жернова-думы заворочались медленно-медленно, грузно-грузно в одном направлении. Что же, в самом-то деле, век так ходить вокруг неё, поклоны класть? Пусть любя, пусть пригожа, а мы-то что сами – в рогоже?

А пока со скрипом и стуком ворочались Егоровы жернова-думы, в это время Платонида развила бурные хлопоты. Со всех сторон начали окружать Егора, оплетать его святошины сети. Не сама, а через других Платонида настроила Егорову мать. Это было нетрудно, потому что старухе и самой хотелось, чтобы сын забыл Макору и женился на другой. Мать чаще и чаще стала заводить разговоры с сыном о женитьбе. Называла и прихваливала Параню, девку видную, дородную и не без приданого.

О Паране Егор слышал и от других, сном-делом не ведая, что это не без Платонидиных наветов. Незаметно для себя он стал подумывать о ней. Параня, Параня! С Макорой её не сравнишь, и Егора совсем к ней не тянет. Но старики, может, и вправду врут, что поживётся – слюбится.

Встретится Параня на улице, поклонится чиннехонько, потупит глаза, покраснеет. И на посиделках случайно ли, нет ли довелось Егору сидеть рядом с ней и раз и два. Иногда и сама Параня заходит в Егорову избу то за дрожжами для стряпни, то за утюгом. А то соли займы попросит: «Уселись ужинать, хватить – а соли-то и нет». Иной бы удивился: пришла за солью, дома ужин ждет, а она с Лушей ленты перебирает битый час, броши примеривает, на Егора ласково поглядывает, не спешит домой. Егору невдомек девичья хитрость, он сам хитрить не умеет и других на свой аршин меряет.

Недавние холостяки-приятели, теперь уже женатые мужики, иногда при встречах, бахвалясь прелестью семейной жизни, в шутку жалеют Егора, сочувствуют ему и намекают, что одна только в небе луна, а невест – полон насест. Егор привычно отшучивается, говорит, что не питает к женатым зависти. А невест найдется, стоит лишь поискать... Так говорит, а сам думает о Макоре. Может, свата к ней послать? У самого ничего не выходит, так не поможет ли сват?

#### 4

Егор пришел к Анне Прохоровне, Митиной матери. Помялся у притолоки, походил по избе, прислонился к печному кожуху. Анна Прохоровна чистила картошку. Через плечо она оглянулась на позднего посетителя.

– За делом каким-то, чую, Егорушко...

Он водил ладонью по печной щеке, горячей, неровной, переступал с ноги на ногу.

– Дело небольшое, Анна Прохоровна. Не сходишь ли ты свахой? Жениться задумал.

От неожиданности Анна Прохоровна уронила картофелину, повернулась на стуле.

– В добрый час, в добрый час, Егор Павлович! От хорошего человека и свахой быть хорошо. К кому идти-то, сокол?

Она ждала, что услышит ответ: к Паране. Ещё вчера об этом был разговор с Егоровой матерью, и та прямо называет Параню невесткой. Да и Анне Прохоровне казалось, что Параня – самая пара Егору. А он ответил:

– К Макоре.

Анна Прохоровна закашлялась, стала искать в ведре недочищенную картошину, поджала губы.

– А мать-то как, Егорушко, согласна?

– Не она ведь женится, я вроде бы женюсь...

– То так... Приданое-то просить ли? Да много ли просить-то? – не без насмешки спросила сваха.

– Три воза соломы да фунт пелёвы, – пошутил Егор. – Не с приданным жить,

Анна Прохоровна, ты о нём не пекись. Так сходишь ли?

– Что делать, схожу уж. Не чужой ты, как не уважить...

Огрофена сразу поняла, зачем пришла соседка, не по будням принаряженная, не по-всегдашнему чинная.

– Заходи-ко, заходи, соседушка. Садись да хвастай, – захлопотала Огрофена.

Анна Прохоровна отвесила поясной поклон, ответила:

– Пришли не гости гостить, не беседки сидеть. Нам велено доброе слово сказать, о хорошем спросить.

– Спроси-ко, не куражься, ответ дадим, не покуражимся.

Пока они так вот, по старому обычаю переговаривались, в избе появилась Макора. Увидев принаряженную гостью, стоящую, опираясь рукой на голбец, она всё поняла, покраснела и вопросительно посмотрела на мать. Та кивнула дочери, мол, уйди в кут. Макора пожалала плечами, но послушалась матери. Сватовство продолжалось. Макора сидела за занавеской и боялась, что не выдержит, засмеётся. Её сватают, дикость какая! Но когда она услышала имя Егора, будто кто её подстегнул, не могла усидеть на месте.

– Он сам вас послал, Анна Прохоровна? – тихо спросила она.

– Сам, Макорушка. Кто же ещё пошлет, – ответила сваха, потеряв тот торжественный тон, коим было начато сватовство. Огрофена делала дочери знаки, но та не обращала на них внимания. Еле сдерживая себя, она подошла к свахе:

– Скажи ему, Анна Прохоровна, так... Скажи ему... «купцу» вашему... Как это в сватовских прибаутках говорится? «Не по купцу товар, не по товару купец». Так вот и передай...

С непокрытой головой, резко стуча каблуками, Макора выбежала из избы. Огрофена сокрушенно зажевала губами.

– Что с ними сделаешь, с нынешними девками! Сами себе хозяйки.

Анна Прохоровна тоже пригорюнилась, села на приступок.

– Своевольные стали. К добру ли, не знаю.

– Жить-то им, сватьюшка...

Обе старухи долго судачили о житье-бытье, о новых, совсем не понятных порядках. Сватанье так и не состоялось.

Анна Прохоровна жалостливо смотрела на Егора, принеся ему отказ. Старалась утешить.

– Ты не горюй, Егорушко, не клади близко к сердцу. Я тебе такую высватаю, век будешь благодарить. Найду невесту, что телом добра, лицом баска, а в мужний дом не в рямок<sup>1</sup> придет, от приданого сундуки ломятся.

– Где тебе такая подвернулась, Анна Прохоровна? Вроде у нас эких и девок-

---

<sup>1</sup> Рямок – лоскут, тряпка.

то не водится. Не из-под Устюга ли привезти норовишь? – горестно посмеивался Егор. – На сундуках, кабыть, женить меня собрались, а не на девке...

– Будет девка, Егорушко. Чем худа Параня, Олексина внучка? Про неё я думаю, тебе её взять советую. Возьмешь ли?

– Как не возьмет! – ответила за сына Егорова мать. – Лучше и искать не надо. Иди-ко, благословясь, сватай...

В этот день козам Ефима Марковича досталось от Егоровых, могучих рук. Он мял их так, что хозяин даже пожалел – не работника, конечно, а кожи.

– Ты бы полегче малость. Так и порвать немудрено. Вовсе сказать, не хуже медведя...

## 5

Макора встретила Егора на улице, скромно поклонилась.

– Здравствуешь, Егор Павлович.

– Доброго здоровья, Макора Тихоновна.

Она проходит, голова прямо, спокойная, равнодушная. Только глаза прикрыты ресницами, не посмотреть в них Егору. И хорошо, что не посмотреть...

Егор делает несколько шагов дальше и не выдерживает, вернувшись, догоняет Макору. Хочет сказать хоть что-нибудь, а слова подобрать не может. Идет молча рядом. Макора ускоряет шаги.

– Такая, значит, судьба, Макора Тихоновна? – говорит Егор.

– Что ж, Егор Павлович, поздравляю, – отвечает Макора.

– Ты сама виновата...

– Наверно, виновата...

– Я к тебе был всей душой.

Макора остановилась, взметнула ресницами. Егору стало жарко, он расплолил ворот рубахи.

– Егор Павлович, ты женись, не укоряй себя, – сказала Макора твердо. – Насильно милому не быть. Забудь всё. Будто встретились вот так и разойдемся...

Она поклонилась, хотела идти. Егор остановил её.

– Скажи хоть напоследок, почему ты...

– Хорошо, скажу. Я ошибалась в тебе, Егор, думала, у тебя широкая душа...

А ты такой... такой...

Егор ждал. Макора с минуту стояла, прижав ладонь к груди, потом выпалила:

– Единоличник...

Егор ничего не понял, так и остался стоять столбом.

# ВЕСЁЛАЯ СВАДЬБА В СОСНОВКЕ

## 1

Митя вернулся из очередной поездки с кинопередвижкой по дальним сельсоветам. Худой, черный от загара, он был полон впечатлений. И не так уж широка округа, по которой он колесил, все названия сел и деревушек знакомые с детства – Овсянка и Залисье, Учка и Мотовилиха, Зеленино и Верхотурье. Но одно дело слышишь названия, другое дело видишь село и его людей собственными глазами. Вот Учка – глухой заброшенный край, куда даже письма с трудом доходят. Митя помнит, как в детские годы он вместе со сверстниками, заведя идущих в город уецких баб, с тайным умыслом спрашивал их:

– Бабоньки, откуда вы?

– С Учки, с Учки мы, милый, – отвечали бабы, не ожидая подвоха.

А ребятам того и надо.

– Вы сучки? А где же у вас хвостики?

Бабы ругаться, а ребятня врассыпную.

И вот Митя на Учке. Просторная школа набита битком. Слушают вступительное слово киномеханика, затаив дыхание. Электрический свет вызывает невообразимое восхищение. А картина буквально всех ошеломляет. Почитай, всю неделю пришлось Мите катить картину по три-четыре раза в день. Всем хочется посмотреть, многие приходили дважды и трижды. А были и такие, что умудрялись не пропустить ни одного сеанса. Вечером школьная сторожка, где ночевал Митя, превращалась в склад продовольствия. Несмотря на Митины протесты, ему несли и молоко, и яйца, и картофельные шанежки, румяные, аппетитные, и жимки, тающие во рту, и ячменные хворосты, приятно похрустывающие на зубах. На столе не хватило места, съестным добром заполнялся подоконник, лавки и даже койка. Митя разводил руками.

– Что я со всей этой едой делать-то буду?

– Ешь, ешь, милый, – лукаво улыбались женщины. – Пока всё не съешь, не отпустим. Ешь да показывай нам живые картины.

– Да у меня только одна картина. Надоест она.

– Ничего, не надоест. Показывай знай. Другой-то раз невесть когда приедешь, да и приедешь ли... Кушай на добро здоровье.

Механику не оставалось ничего иного, как повиноваться.

Зато в Зеленино с ним случилась другая беда. Там сбил с толку всех коновал-знахарь. Он распустил слух, что Митя – это не кто иной, как антихристов служка, и его холодный огонь – чертова выдумка, а туманные картины – дьявольское наваждение. Митю не пустили в школу, не нашлось ему места на ночлег во всей деревне. И уезжал он под улюлюканье ребятни, проклятия и угрозы

взрослых.

А чаще в деревнях его встречали с недоверием, подчас с насмешками, а провожая, спрашивали, когда он снова заглянет да пусть долго не задерживается. После нескольких поездок Митя почувствовал себя старше и взрослее. Дело не столько в том, что он больше уж не боялся забыть обтюратор, а в том, главным образом, что стал он сживаться с народом. На первых порах чем люднее в помещении, тем больше дрожали у механика поджилки, детали падали из рук и самое простое вдруг выскакивало из головы, будто и не знал. Потом это прошло. В казавшейся ранее безликой, чужой и неприязненной публике он стал ныне находить любопытство, заинтересованность и дружбу. Теперь он уж не ограничивался вступительным словом, а после сеансов, разобрав и прочистив аппаратуру, подолгу разговаривал с крестьянами о новостях техники, о религии, о колхозах. И с удовольствием замечал, что к его словам прислушиваются. В Верхотурье после беседы пятеро записались в колхоз. В Мотовилихе молодежь потребовала создать у них комсомольскую ячейку. Впрочем, бывали и печальные недоразумения. В Овсянке Митя прочитал женщинам газетную заметку, в коей рекомендовалось доить коров не двумя пальцами, а всем кулаком.

– Ты уж нам покажи, сердечный, как это делается, – просили женщины, в простосердечии своем полагая, что раз парень газеты читает и картины кажет, то всё знать и уметь обязан, Митя не смог отказаться, пошел в хлев, надеясь, что доить коров – премудрость не велика. Но там получился полный конфуз, корова никак не хотела подпускать его к вымени и под конец мазнула хвостом по щеке.

– Пелагея, дай ты ему свою кофту и платок, – посоветовали женщины.

Растерянный Митя и на это согласился. Кто-то из мужиков, наблюдавших с сеновала, предложил надеть и сарафан: без сарафана, мол, всё равно ничего не выйдет. От сарафана Митя отказался. Но каково же было его изумление, когда корова, обнюхав кофту и платок, подпустила механика. Но лучше уж она его боднула бы или лягнула, или совсем от него убежала. Доберясь до вымени, Митя с ужасом почувствовал, что ничего у него не получается: он не может выдавить из сосков ни капли молока.

Хозяйка коровы Пелагея сокрушенно ахала, подталкивая соседок под бока.

– Вот как, оказывается, кулаком-то, а мы, темные, и не знали. Глядите-ко, до чего народ доходит!

Соседки хихикали, переговаривались. А с Мити градом катился пот. Он рад бы убежать, да как убежишь. Помогла сердобольная старушка.

– Ну-кось, бабоньки, хватит тешиться. Стойкое ли дело мужику за коровьи титьки дергать...

Когда Митя рассказал об этом злоключении в комсомольском райкоме, все покатались со смеху. А строгий секретарь посоветовал:



– Ты, брат, с бухты-барухты за коровьи-то титьки не хватайся. И для титек тоже умелые руки требуются...

## 2

Домой Митя приехал в бодром настроении. Ступив в избу, он недоуменно остановился перед отцовскими праздничными нарядами. В переднем простенке висела растопыренная на спицах суконная бекеша, которую отец извлекал из сундука лишь по двенадцатым праздникам, да ещё вёснами, чтобы развесить на изгороди просушить, проветрить и убить благодатными солнечными лучами злую моль, буде она завелась. В другом простенке красовалась черная жилетка с пристегнутыми часами на серебряной цепочке. И часы тикали... А ведь в обычные дни они с неподвижными стрелками мирно лежали на божнице. Заводил их отец в редких случаях, ради больших торжеств. Картину завершала раскинутая на столе сатиновая голубая рубаха – предел отцовского щегольства. «Что за праздник у батьки?» – подумал Митя. Только он хотел задать этот вопрос матери, как она сама с таинственным видом полупшепотом сообщила:

– На свадьбу собираемся. Батько посаженным отцом будет...

– Да кто женится?

– Ты не слыхал, что ли? Егорко-то наш за ум взялся. Высватал девку хорошую, справную.

– Макору?

– Куды Макоре! Провертелась она, упустила парня. Да и к лучшему дело-то. Не Макоре чета невеста Егорова. Параню Медведчикову знаешь? Так вот она. И сама толста, и лицом красна, и в дом принесет немало добра...

– Параню! – Митя свистнул и уставился на мать. – Кто же его обработал, бедного дядюшку?

Мать рассердилась.

– Много ты понимаешь! Обработал... Парню счастье подфартило. Гляди-ко, ему уж скоро третий десяток сполнится, а всё не женат. Так и на всю жизнь холостяком не мудрено остаться. А он эку девку отхватил! Чуть помоложе бы, и тебе в невесты не худо...

– Мечтал о такой. Не можешь ли, матушка, присватать похожую?

– Ну-ну, не насмехайся над матерью. Знаю тебя! Тебе бы чики-брики на высоких каблучках. Смотри, парень, в крестьянском деле такая неподходяща.

– А как же! Каблучки – самое главное.

Митя подошел к матери, взял её за плечи.

– Да что ты, мама, женить меня собралась? Рановато вроде. Дай-ка мы с тобой хоть поздороваемся как следует...

Он обнял и поцеловал мать. Та расчувствовалась, всплакнула, засуежилась.

- Ты поешь с дороги-то. Соберу я тебе. Наголодался, поди, в чужих людях. Сын не дал матери убрать со стола отцову рубаху.
- Сытехонек я, мама. И чужие люди добрые бывают. Пойду лучше дядюшку навещу, поздравлю его.

### 3

В Егоровой избе шло великое мытье. Полдюжины соседок, заткнув подолы за пояс, сверкая голыми икрами, взобрались на высокие помосты и натерали потолочины, матицу и стены голиками с дресвой. Их шутки и смех гулко раздавались в просторной избе, освобожденной от мягкой рухляди. Заметив Митю, соседки обсыпали его дресвой.

– Не подглядывай, бесстыдник!

Митя проворно захлопнул дверь. С повети выглянул Егор.

– Что, попало?

– Стыдливые скромницы, что с них возьмешь, – смеясь ответил Митя. – Здравствуй, дядюшка. Поздравить тебя пришел.

Дядин вид, смущенно-виноватый, развеселил племянника. Он степенно раскланялся.

– Любовь да совет на сотню лет.

Егор недоверчиво покосился на него.

– Спасибо, ежели не шутишь.

– Вот тебе раз! До шуток ли. Как это ты, дядюшка, столь круто завернул, что и одуматься некогда?

Пряча глаза, Егор взялся за кисет.

– Когда-нибудь да всё равно придет пора.

– То верно.

Помолчали. Егор спросил:

– Как поездилось?

Митя ответил:

– Неплохо.

Опять помолчали. Дядя не выдержал, повернулся прямо к племяннику, держа сигарку в больших ладонях, чтобы искра не упала на сено или в мякину, раструженную по повети.

– Так приходи, Митяш, на свадьбу. Твое место на передней лавке.

– Спасибо, дядюшка.

Нет, не хватило у Мити духу начать разговор про невесту. Стоит ли лезть не в свое дело? Дядюшка не мальчик, своя голова на плечах. Поговорили о предстоящей свадьбе: наварено ли пиво да много ли, сколько гостей будет позвано, в какой день начнется пир, кто дружками, кто сватом. Будто между прочим, на-

мекнул Митя и на приданое. И тут дядя помутнел взглядом, сник.

– Ты что? Не думаешь ли, будто за приданным я погнался? – спросил он глухо, глядя в угол сеновала.

Растер в пальцах потухшую сигарку, приклонился к самому Митиному лицу.

– Скажу я тебе, Митяш, не утаю: против сердца женюсь. Знаю, что надеваю на шею хомут, а иначе не могу. Извела она меня...

Он споткнулся, посмотрел на Митю отсутствующим взором, выдавил из горла:

– Макора-та.. извела...

Митя не сдержался.

– Не Макора тебя, а ты её извел. Она к тебе всей душой, а ты, прости за прямоту, в назем от неё лезешь. В лесу начудачил, со святошей снюхался, в Ефимкиного подручного превратился. Вместе с этим хитрованом мужиков надуваете кожевенными махинациями. Ну и что? Она не знает, думаешь, всего этого? Ей безразлично, кто у неё муж – добрый ли человек, или чудотворная хапуга...

Егор слушал эти резкие слова с широко открытыми глазами. Они его оглушили так, как не оглушил бы, пожалуй, удар березовой кувалдой, которой бьют быков. А Митя хлестал и хлестал, называя дядюшку и кулацким прихлебалой, и собственником-жадюгой, и чуть не гидрой контрреволюции. Егор остолбенело слушал и только, когда прозвучало слово гидра, взял племянника тихонько за плечи и чуть приподнял.

– Митяш, чего ты говоришь-то, одумайся...

– Это тебе, а не мне одумываться надо, – запальчиво отрезал племянник.

– А может, ты и прав, – вздохнул Егор, – может, и прав, да уж поздно вернуться...

Он опустил Митю и зашагал от него, большой, тяжелый. Мостовины взвоза скрипели и гнулись под его ногой. Митя пожал плечами и вышел вслед за ним.

#### 4

Свадьба была громкой и веселой. Сколько лагунов пива выпито – никто не считал. Козырем ходили все, начиная от посажённого отца: и дружки, и сваты, женихова и невестина родня, и любой из соседей, пусть званный либо незванный, кто пришел из любопытства или пображничать на даровщину. Невеста сидела довольнешенькая, пышная, со щеками, будто две сочные свеклы. Жених временами хмурился, попадал рукой вместо рыбного пирога в блюдо с киселем. Но на это никто не дивился: перебрал малость жених, велика ли беда. За первым столом сидели два батюшки – свой и пустынский, а промеж них сама Платони-

да, сменившая по такому торжественному случаю черную одежду на белую. Она не пила, а только прикладывала финифтяную стопку к тонким губам, но на впалых её щеках всё же заиграла слабая краска. Платонида не кричала «горько», сидела, словно проглотив аршин, и лишь время от времени истово благословляла новобрачных костлявой рукой. Отец Сергейпил без меры, шумел без удержу, лихо отплясывал вприсядку, на ходу тиская хмельных баб и говоря им скабрзости, от которых те взвизгивали. Зато отец Евстолий выпивал сдержанно, закусывал благочинно, а захмелев, сидел пригорюнясь, склонив лысую голову набочок. Его попадья – баба ростом чуть не вдвое выше своего кругленького супруга, ширококостная и мужикообразная – упиалась зело и всё плакала, всё плакала, не утирая слез.

Митя не пошел на свадьбу. Он лежал на полатях и зажимал уши ладонями, накладывал на голову подушки, чтобы не слышать свадебных пьяных криков, разгульных песен, могучего топота мужицких сапог, от которого не только плотные половицы, а и земля ходила ходуном.

Гуляли до рассвета. Утром, когда жених направился к колодцу умыться, дружки по обычаю поджидали его, притаившись за углами, чтобы окатить холодной водой из ведер. Но жених оказался не промах. Он выбил ведра из рук дружек, схватил полный ушат воды и окатил их обоих с ног до головы. Гости с восторженными криками подхватили жениха под руки, осыпали его хмелем. Словом, свадьба удалась. А Макора... Что ж Макора! Ее подушки никто не видел; какая она была в ту ночь, мокрая или нет, неизвестно. А утром Макора ушла мять лен и стучала мялкой весь день до потемок.

*Глава одиннадцатая*  
**БЕРЕЖНОЙ СТОИТ НА РАСПУТЬЕ**

**1**

В кожевне работали от темна до темна. Бережной и ещё трое мужиков мяли кожи, стругали мездру, не разгибая спин. Сам Ефим Маркович не уходил из амбара ни на час. Торопились разделаться с кожами до заморозков. Даже и спали тут же, в избушке мельника, трухлявой, кособокой, но всё-таки укрывающей от ночной мокрети и осенних стылых ветров. Ужинали при свете лампадки, что теплилась перед закопченным образом то ли Николая-угодника, то ли Пантелеймона-целителя. Под слоем копоти трудно было разобрать, кто там изображен. Ели торопливо, молча, каждый своё, извлекаемое из лукошка, из корзинки, из берестяного кузова.

– Гутен морген, гутен таг!

В распахнутой двери показался Харлам Леденцов. Он любил щеголять вы-

везенными из германского плена, уцелевшими в памяти немецкими словами.

– Рутен морген, гутен таг – бьют по морде, бьют и так, – балагурил Харлам, строя при этом уморительные рожи. Оскаленные крупные зубы блестели в темноте, над ними прыгала бабочка усов. Курчавая шевелюра отливала медью. Схватив еловый чурбак, Харлам подставил его к столу, сел и вытащил из кармана бутылку с красной головкой. Обмяв сургуч, он смачно ударил доньшком бутылки по широкой ладони. Пробка вылетела с громким хлопом, отскочила от потолка Ефиму Марковичу в нос. Тот крутнул головой, вызвав смех.

– Братие, пиите от нея вси. Сия есть кровь моя нового завета, – пропел густым баритоном псаломщик, обвел глазами столешницу и продолжал в том же тоне:

– А где же у вас подходящая посуда, братие?

– Да какая же посуда, Харлам, – откликнулся, всё ещё морщась, Ефим Маркович, – на всю-то братию по капле достанется. Пей сам, а мы тебе подмогнем, станем слюнки глотать...

– О неверные! – возгласил псаломщик и левой рукой вытащил другую бутылку. Тогда кожевники, ухмыляясь, начали вынимать из своих лукошек, корзинок, кузовов кружки, чашки, стаканы, расставляя их рядком на столе. С особым тщанием Харлам разлил водку – всем поровну, себе оставил на доньшке в бутылке не больше и не меньше, чем другим.

– Вонмем! – рявкнул он и единым духом выплеснул содержимое из бутылки в горло. Остальные не заставили себя ждать. Выпив, стали закусывать кто чем. Харлам, как сморщился после глотка, так и сидел, ждал, глядя на свою братию. Никто не предложил закуски. Тогда он провел рукавом по губам вправо и влево и крикнул:

– Эх, нету такого Христа, как в Канне Галилейской...

Пропустив по одной, собутыльники ждали по второй, но псаломщик не спешил. Он смотрел на кожевников стеклянными глазами филина, в них отражалась зеленая лампадка. Бережному от этого взгляда стало не по себе. Он отвернулся.

– Ничего вы, братие, не знаете, а вас решено ликвидировать как класс, – произнес ровным голосом Леденцов и вдруг взъелся. – Чего сидите, как статуи! Вам говорю: последние деньки доживаете.

Кожевники сначала не могли понять, всерьез он это говорит или валяет дурака. Первым забеспокоился Ефим Маркович.

– Ты, Харлам, уж не лишнее ли перехватил? – ласково опросил он.

– Может, малость и так, – согласился псаломщик. – Тут, милый, без бутылки не разберешься...

Он поставил бутылку на середину стола, придвинулся и наклонился к Ефиму Марковичу так, что почти задел усиками Ефимово ухо, стал говорить гул-

ким шепотом, слышным на всю избу.

– В сельсовете был сегодня. Слышал про вас толковали. Мол, каюк им скоро придет. Налогом придушить хотят. Да и твердые задания пропишут. А потом...

Он сделал выразительный жест, прижав ноготь к столешнице.

– Поняли, чада мои? Поняли, так давайте по этому поводу выпьем.

Ефим Маркович беспокойно ёрзал на лавке. Его белесые глазки совсем разошлись: один глядел на псаломщика, а другой на Бережного.

– Да мы что? Мы же ничего, мы труженики...

Псаломщик захохотал так раскатисто, что с потолка тонкой струйкой посыпался песок.

## 2

Наутро Егор встал с тяжелой головой. Скребок валился из рук. Он бросил его, сел на грудь кож, свернул толстенную сигарку. Но затянувшись раза два, кинул её, наступил сапогом. Вышел на чистый воздух, зашагал в гору, к дому. Ефим Маркович удивился неожиданному уходу Егора. Выглянул из дверей сарая, крикнул:

– Ты куда, Егор?

Егор не ответил. Придя домой, он не знал, за что взяться. Постругал черенок для граблей, отложил. Принялся вить веревки – пряди никак не шли ровно, скручивались петлями да узлами. Взял топор, вышел поправлять ворота у санника, чуть не посек ногу, почти насквозь просадил носок у сапога. Плюнул, вернулся в избу и забрался на полати. Параня почувствовала, что муж не в себе, молча наблюдала, как он мается, а спросить не смела. Не очень он ласков с ней, не открывает души.

– Ты бы хоть поел, Егор, – сказала она, осторожно косясь на полати. – Рано заваливаешься. Здоров ли?

– Как бык, – ответил Егор, но с полатей слез, почесался. – Принеси-ка капусты да рассольцу побольше...

Параня многозначительно поджала губы, ходко побежала в погреб. Принесла целое блюдо капусты. Свежезасоленная, она душисто пахла и похрустывала на зубах. Но поел Егор немного. Зато он с жадностью выпил весь рассол через край. Стало легче. Шутя подтолкнул жену в бок.

– Ты чего уставилась-то, ровно корова на новый тарантас? Невесть какой я патрет...

– Да мне показалось, занемог ты, Егорушко...

– Чего сдеется! Вишь, вот и поправился.

Он пошарил на лавке за столом кепку, натянул её и вышел из избы. Параня

посмотрела в окно, куда он направился. К племяннику, к Митяшке...

Митя сидел в горнице за книгами. Он не расслышал дядиных шагов. Егор кашлянул. Митя оглянулся и не очень радушно кивнул дяде. С ним он после памятного разговора перед свадьбой избегал встречаться. Митя сказал, что отца дома нет, и повернулся к книге. Но дядя не уходил, стоял за спиной и пыхтел.

– Митяш, я ведь к тебе...

Племянник неохотно поднял голову от книги.

– Я к тебе, – продолжал твердить Егор. – Вишь ты, незадача какая получается...

Большой, могучий, он неловко опустился на табурет, мял в огромных руках выцветшую кепку.

– Стряслось что-нибудь? – встревоженно спросил Митя.

– Не стряслось, да, видать, стряется... Чует душа... Вчера псаломщик пьяный болтал. Не знаю, сказывать ли тебе...

Митя ощетинился.

– Не знаешь, так и не надо. Я не тяну за язык.

– Да ты не серчай. Я к тебе, видишь ли, за помощью пришел...

– Что ж помогать, в самой силы на десятерых, – усмехнулся Митя.

– Сила что, – развел руками Егор. – Она, сила-то, вроде и есть, да пустая. Надо, чтобы ещё тут варило.

– Так выкладывай, что у тебя, – сдался Митя.

И дядя подробно рассказал о вчерашней попойке.

– Ты скажи мне напрямик: прижмут нас?

– Вас? – переспросил Митя. – Кулаков прижмут, это факт. Эксплуататорам будет конец, это истина. А ежели ты себя к ним относишь, то и тебе, стало быть, не сдобровать.

– Митяш, ты по-родственному скажи мне, кто я нынче – неуж эксплуататор этот окаянный или нет?

– Поразмысли сам, дядюшка. Это полезно. Хоть поздновато, а всё-таки полезно.

– Вот загвоздка! – наморщил лоб Егор. – Никогда таких загадок не разгадывал... Ежели по приданому, так вроде и туда... А по кожевне, то...

– Тоже вроде туда, – подсказал Митя. – Вот что я тебе, дядюшка, скажу без всяких экивоков: развяжись ты с этой кожевной да вступи в колхоз. И вся загвоздка...

– Так-то так... В колхоз, говоришь... Ишь, какое дело...

Всю следующую ночь ворочался Егор на полатах, не мог уснуть. Из головы не выходило проклятое слово: эксплуататор. Бухало там, словно цепом. Ни в жизнь не думал, что экое привяжется. И выдумают же! Кто только его первый сказал? Неуж это он, Егор, – не просто Егор, а ещё эксплуататор. Бережной не

понимал самого смысла слова. Оно его угнетало своей необычностью и жестокостью. Будто молотит, молотит кто: эксплуататор, эксплуататор... Наверно, надо послушаться Митюши, он парень вострый, всё видит... Отвязаться надо от Ефима, леший с ним...

Под утро Егор услышал: голодный Рыжко грызет мостовину. Надо подбросить ему сена. Встал, натянул кафтанишко, пошел на поветь. Рыжко, почуяв хозяина, негромко заржал. Егор накидал в ясли сена. Потрепал меринка по холке.

– Ешь, наедайся, шельмец. Вот попадешь в колхоз...

Рыжко будто понял, обернулся к хозяину, горячими ноздрями дохнул на него и стал собирать с плеча сенинки, дотягиваясь шершавыми губами до хозяйского уха.

– Эк ты, дурной, – ласково обругал меринка Егор и слегка толкнул ладонью в морду, направляя её в ясли.

Морозный утренний ветерок дул в щелявое окошко. Егор поежился, взял горсть яровой соломы, свил её жгутом и стал затыкать щель. «Заморозки уж начинаются, зима скоро на двор придет», – подумал он. И вдруг ему стало страшно от мысли, что вот он, может быть, последний раз затыкает щели в стене своего двора.

### 3

События повернулись круто. Харлам Леденцов болтал не зря. Первый раскат грома грянул вскоре. Сельсоветский сторож принес Ефиму Марковичу повестку. Кожевник, прочитав её, опустил на лавку.

– Там чего, Ефим? – высунула голову из своего угла за печью Платонида, почуяв неладное.

– Добираются, – скорее поняла она по движению губ, чем расслышала. Мигом натянула на себя одежду, выскочила из закутка. Увидела на столе казенную бумагу, потрогала её сухим пальцем, требовательно сказала:

– Читай-ко.

Ефим вяло произнес:

– Чего читать-то... Налог...

– Сколько?

– А ежели и с меня и с тебя кожу содрать, то и тогда, вовсе сказать, не расчитаться...

Платонида поджала губы, задумалась. Ефим одним глазом смотрел на её бледное пергаментное лицо, ждал. И дождался. Платонида оттолкнула повестку, заговорила отрывисто и повелительно.

– Вот что, Ефим, кожевню порушим. Сегодня же раздай все кожи мужикам. И выделанные и сырые. Свои спрячем. Хлеб ночами вывезем к нашим в Бабу-



рино, и в Котловку, и куда ещё, след сообразить. Этого рохлю Егорка придется приструнить, пущай он поймет, что его дорожка с нами... У него в межуголке да в подзорах<sup>1</sup> можно кожи прихранить... Я ни во что не вмешиваюсь, буду молиться. Со Христом да с богородицей обойдется...

Она уже преобразилась, лицо стало благостным. Встала, перекрестилась на божницу, заметила, что в лампадке масло на исходе, велела дочери подлить.

Ефим покорно выслушал все наставления, но в душе его не было уверенности в благополучном исходе. Мятая бумажка на столе пугала его.

– Иди-ко, иди к Егору сперва. Делать надо, а не чесаться, – не удержалась Платонида подбодрить зятя. Он, вздыхая, натянул пальто.

Ступив за порог Егоровой избы, Ефим Маркович застал Параню в слезах. Она заливала в ушате кипятком капусту и всхлипывала. Егор крутил дратвы для подшивки валенок. Кожевник присел к столу, не зная, начинать или нет свой разговор. Он хотел сначала выяснить, какая ссора произошла между супругами. Но Егор молчал, углубленный в свое занятие, а Параня стала поспешно вытирать лицо подолом фартука.

– Я к тебе, Егор Павлович, – начал Ефим.

Егор поднял голову, почуяв в таком начале разговора необычное.

– Хорошее мы с тобой дело завели – кожевню. И мужики довольны, и мы не в накладе. Так ведь?

Ефим подождал ответа и, не дождавшись, сам подтвердил:

– Так. Большой доход иметь бы можно, раздуть бы нам кадило. Да не дают. Сегодня повестку принесли. Хотят порушить нас. Раздеть собираются. Что, неуж нам самим класть палец в рот? А, Егор?

Бережной продолжал сучить дратвы, бросая равнодушные взгляды на Ефима. На Ефимов вопрос он ответил усмешкой.

– Ты чего ухмыляешься? – повысил голос кожевник. – Думаешь, твой палец уцелеет? Как бы не так. Мы нынче с тобой одним миром мазаны, Егор. Вместе нам и думать надо, как быть.

Он замолк, уставился на Егора белесыми неподвижными глазами. Бережной молчал. Тогда кожевник придвинулся к Егору по лавке, заговорил глухо:

– Придется нам пока разворошить кожевню, Егор. Поделим доходы побожески. А добро надо на время припрятать. У тебя межуголок удобный, туда спустим, затрусим мусорном, лешему не догадаться. В иодзорах место неплохое. Ты к ночи подготовь всё, а стемнеет, улягутся соседи, мы и сварганим...

Параня давно перестала всхлипывать, слушала со страхом и любопытством. Даже забыла и про капусту. А Егор усердно водил ладонью по колену, закручивая дратву. И казалось, он даже не слушает собеседника. Ефим Маркович разо-

---

<sup>1</sup> Межуголок – пространство, образованное стыком зауголков двух изб, построенных рядом; подзор – дощатые резные набойки от края ската крыши к стене избы.

злился. Белёвые глаза его, устремленные на Бережного, вспыхнули недобрым синим огнем. Но он сдержался, притушил глаза, сказал мягко и даже просительно:

– Не подведи, Егор Павлович. Вместе нам с тобой горе горевать.

Бережной неторопливо заделал конец готовой дратвы, аккуратно повесил её на спинку стула, свернул узлом горсть льна, из которой брал пряди.

– Горевать-то вместе, – сказал он раздумчиво. – Только не было бы худа, Ефим Маркович, от такого дела. Веревочка вьется, а конец ей бывает. Не лучше ли вовремя остановиться? Я, вишь, надумал в колхоз вступать...

Последние слова он произнес, как кувалдой ударил. Параня взвыла и сквозь плач стала жаловаться Ефиму Марковичу:

– Ты подумай-ко, чего ему в голову взбрело! Всё отдать, не знаешь за что, чужим людям. Ломай гриву на какого-то голопузого председателя, чтоб ему пусто было... Ты уговорил бы его, Ефимушко...

Ефим Маркович терпеливо ждал, когда она кончит. Она выкричалась вся, остановилась, размазывая слезы по щекам подолом передника.

– Успокойся, Парасковья. Слезами да криком делу не поможешь. Надо подумать да раскумекать. Может, Егор, вовсе сказать, и дельное замыслил. Бывает, что клин клином вышибают. Если с божьим словом да со Христовым именем, так и камень вместо хлеба сгодится.

Надевая картуз, Ефим сказал Бережному тоном приказа:

– Ты, Егорушко, межуголок-то и подзоры подготовь к ночи. А про колхоз мы еще с Платонидой посоветуемся. Как она скажет. Прощайте-ко...

Бережной остался стоять с растерянным видом.

– Ну-ко! И Ефим в колхоз толкает... Вот так оборот...

## *Глава двенадцатая*

### **СПЕКТАКЛЬ В ЯРМАРОЧНОМ АМБАРЕ**

#### **1**

Сырая дождливая осень расхлябила дороги, мутной водой наполнила речки. Не стало дальнего пути ни конному, ни пешему. Мите невольно пришлось прервать поездки с передвижкой. Да он был и рад отдохнуть. А тут еще комсомольцы надумали ставить на Погосте спектакль. Трудно сказать, кому первому пришла на ум эта затея, но она понравилась всем. Как ставят спектакли, никто толком не знал. Но раз решили, что за отговорки могут быть – ставить и никаких гвоздей. Пашка Пластинин запустил руку в свои рыжие вихры, похмыкал под нос и высказал не очень уверенно:

– Ежели к Екатерине Ивановне сходить? Не поможет ли...

Многим предложение понравилось.

– Сходим. Как не поможет. Она этих спектаклей в городе видала тысячи, ей полдела.

Другие возражали.

– Так она вам и станет представляться! Учительша же...

И добавляли:

– Да и старая епархиалка<sup>1</sup>. Их на клиросе петь учили, а не на сцене ломаться.

Всё-таки решили рискнуть, послать к Екатерине Ивановне делегацию. Главным ходатаем назначили Митю – он тоже не лаптем щи хлебает, кинемеханик, не шутите! С ним учительница не захочет, да будет разговаривать. Митя согласился пойти, хотя в душе и потрухивал. Ведь не так ещё давно он дрожал перед Екатериной Ивановной у классной доски и не раз, бывало, выводил её из терпения своими дерзостями. Ах, да что вспоминать, нынче он взрослый, как-никак тоже с образованием, к тому же комсомолец. Пошли. Когда переступили порог маленькой комнатки учительницы, Митя почувствовал себя школьником и произнес: «Здравствуйте, Екатерина Ивановна!» – совсем так, как бывало в ученические годы. И от смущения покраснел. А Екатерина Ивановна ничего этого не заметила или не хотела заметить, поздоровалась почтительно, как и положено здороваться со взрослыми, усадила всех на стулья, сама села напротив. Митя набрался духу и выпалил:

– Мы к вам, Екатерина Ивановна, по делу. Спектакль хотим ставить и просим вас быть руководительницей.

Неожиданная просьба смутила учительницу.

– Что вы...

Она по привычке чуть не сказала «ребята», но спохватилась и поправилась:

– Что вы, товарищи! Какой же из меня режиссер. Не смогу я...

Тут вся делегация дружно на неё набросилась:

– Сможете, Екатерина Ивановна! Вы в театрах бывали. Нам вы только растолкуйте, мы всё сделаем. Не уйдем, Екатерина Ивановна, пока не согласитесь.

– Ну хорошо, а где же вы хотите устроить ваш театр? – стала сдаваться учительница. Ребята это почувствовали. Наперебой они начали с азартом объяснять:

– За хлебной магазеей<sup>2</sup> старые ярмарочные амбары остались. Знаете? Просторные, высокие. Без потолков только. Но это ничего, от дождя и крыша защитит, а пока до зимы и так тепло будет. Сцену мы настелем, декорации намалевать тоже сумеем, у нас художники есть.

Ребята посмотрели на Митю. Тот снова вспыхнул.

---

<sup>1</sup> Епархиалка – окончившая епархиальное училище; клирос – место в церкви для певцов.

<sup>2</sup> Магази́я – склад для зерна, общественный хлебный амбар.

– Какой я художник, – промямлил он. – Афишу-то нарисую как-нибудь. Вот Сима Кубасов, сын попа... простите, священника, – быстро поправился Митя. – Он хорошо рисует, может и масляными.

– Я это знаю, – подтвердила учительница. – А он согласится?

Согласится ли сын попа участвовать в затее, ребята не знали. Им это и в голову раньше не приходило. Но Митя быстро нашелся.

– Мы вас, Екатерина Ивановна, попросим с ним переговорить. Вам-то он даст согласие.

– Что ж, я, чем могу, помогу вам. Только уж как получится, не посетуйте.

## 2

Ах, с каким жаром взялась молодежь за подготовку спектакля! Задолго до начала репетиций была намалевана красочная афиша во весь простенок потребиловки. Впрочем, о предстоящем событии ещё раньше знала деревенская округа. Новое, мудреное, пока ещё совсем не понятное слово «спектакль» повторялось и у колодца, и на гумне в минуты отдыха, и вечерами на посиделках, и за столом вокруг дымящейся каши-поварихи. Девчата гадали, что это такое, и нетерпеливо ждали дня, когда загадка откроется. Мужики усмехались, качали головами: «Опять эта комсомолия чего-то чудное придумала». Старухи крестились: «Как бы греха не вышло, прости господи...»

А у доморощенных артистов шел великий спор: что ставить? В бедненькой школьной библиотеке нашелся томик Пушкина с трагедией «Борис Годунов». Отыскали «Бедность не порок» Островского. В одной из чеховских книг кто-то обнаружил пьесу «На большой дороге». «Бориса Годунова» большинство отвергло сразу: про царя не дело комсомольцам спектакли ставить. Заглавие пьесы Островского привлекало, но очень уж она длинна, разве выучишь такие роли! А вот эта, про большую дорогу, и коротенькая, и смешное есть, и страшное. В самый раз для начала. Так и решили ставить «На большой дороге». Когда же стали распределять роли, выяснилось, что главную женскую роль играть некому. Девчата, желающие играть, были, но не оказалось матерей, которые бы позволили своим дочкам «ломаться на посмешище перед всем народом». Препятствие казалось непреодолимым. Но выход в конце концов всё-таки нашелся. Митя пошел к Макоре, и она согласилась.

– Вы только подучите меня. А то я ни слова молвить, ни шагу шагнуть не сумею, наверно. Буду вот штёкать да окать по-нашему, по-деревенскому...

– Ну, как сумеешь, – успокоил Митя. – У нас не ахти какой императорский театр. Привыкнешь постепенно.

– Да, я переимчивая, – согласилась Макора. – Другой раз сама, одна начну по-городскому говорить – и выходит. Не такие уж мы непуги...

Сима Кубасов, поповский сын, вялый, застенчивый, весь вспотел, когда учительница передала ему приглашение комсомольцев. Заикаясь от волнения, он сказал, что декорации сделает, а на сцене выступить пока не решается: надо узнать, как к этому отнесутся родители. Вечером Сима появился в амбаре, которому отныне уготовано было стать театром. Там стоял дым коромыслом. Правильнее, конечно, не дым, а пыль. Многодавняя, ещё со времен былых ярмарок, густая, серая, она, сметенная со стен, носилась в воздухе плотными тучами. Но её не замечали, не обращали на неё внимания. Кто сплачивал полы, загоняя между половиц клинья, кто мастерил помост для сцены, кто конопатил углы, чтобы почтеннейшую публику во время представлений не прохватило ветерком сквозь щелявые пазы. А над всем этим стоял невообразимый грохот от великого усердия плотников, чинивших крышу.

Митя, взлохмаченный, угорелый от беготни и крика, таща охапку реек, наскочил на Симу Кубасова, несмело остановившегося у порога.

– Уй, Сима, извини, я тебя царапнул. Шагай за мной.

В узком проходе за сценой Митя ухватил Симу за пуговицу и начал ему объяснять, какие нужны декорации к первому спектаклю.

– Фанеру мы достанем в потребиловке, у них ящики порожние есть. Холстину из мешков сделаем, ребята выпросят у матерей по мешку – и дело. Вот с красками хуже, где их взять, не знаю. У меня есть, да мало. Охра, сурик и щепотка голландской сажи.

– Красок я принесу, – сказал Сима, потупя глаза, с виноватой улыбкой. – У нас много их, от церкви осталось...

– Тогда совсем добро! – весело воскликнул Митя, схватил Симиной руку и крепко ее пожал. – Приступай. Чего понадобится – спрашивай, поможем.

### 3

Скоро старого ярмарочного амбара было не узнать. Желтые сосновые скамейки, расставленные ровными рядами, наполняли бывший амбар смолистым духом. Со стен кричали цветастые плакаты, призывая пока еще отсутствующих зрителей вступать в добродетель, ликвидировать неграмотность, бороться с кулачеством и помогать голодающим Поволжья. Правда, последний плакат был староват, его откопали где-то за шкафом в сельсовете, но Пашка Пластинин настоял, чтобы повесить и его, потому что он был очень уж выразительный и яркий. Митя сначала колебался, стоит ли ворошить старину, потом согласился.

– Ничего, – утешал он не столько ребят, сколько себя, – надо помнить и то, что было. А к тому же ведь это произведение искусства.

Плакат оставили, хотя повесили в угол, не на очень видное место.

Но самым главным украшением клубного зала был занавес. Ребята заранее

предвкушали, какое впечатление произведет он на будущую публику. Сшитый из мешков, чисто вымытых и тщательно подобранных по колеру, он был разукрашен затейливым орнаментом. Клеевой рисунок, усыпанный мелкобитым стеклом, где белым, где синим, где зеленым, эффектно искрился. Скажем по секрету: не зря в те дни многие родители недоумевали, куда же запропастилась лампадка, что висела перед божницей в нежилой избе.

В центре занавеса рдел суриком комсомольский значок «КИМ», окруженный эмблемами серпа и молота, а под ним застыли две мускулистые руки в могучем и нерасторжимом пожатии. Залу придавали домашний уют развешенные между плакатами полотенца с широкими выкладными или шитыми цветной шерстью прошивами, с пышными кружевами собственного рукоделия сосновских, погостских и многих других мастериц. Одно плохо – свету маловато. От двух жестяных коптилок с отражателями какой же свет! Но ребят утешила Екатерина Ивановна, пообещав на время спектакля лампу-«молнию» из школы.

#### 4

А репетиции между тем шли одна за другой. Охваченные пылом артисты усердно зубрили роли не только в клубе, но и в поле, в лесу, дома, подчас приводя в недоумение и даже пугая родителей.

– Чего это у нас парень-то бормочет? Уж не порча ли напала на него?

И вот удивительно: пока заученные слова повторялись в одиночестве, все было хорошо. Артисту казалось: он так сыграет роль, что зрители будут если не потрясены, то во всяком случае удивятся его искусству. А как только начиналась репетиция на сцене, и язык деревянел, и ноги переставали свободно шагать, и неизвестно было, куда деть руки. Вот и двигались по скрипящим подмосткам неуклюжие увальни и зайки, не знающие, что сказать и как ступить. Митя выходил из себя, ругал всех болванами и бездарью, даже иногда в горячах вырывалось такое словечко, от которого хватался за волосы. Когда же сам появлялся на сцене, к собственному ужасу, чувствовал, что становился таким же остолопом, как те, кого минуту назад обзывал этим малоприятным прозвищем. В такие моменты казалось, что всё, всё пропадет и ничего из начатой затеи не выйдет. Хотелось всё бросить и признаться в собственной несостоятельности. А бросить-то и нельзя: на потребиловке висит афиша, такая яркая и зазывная, что и тот, кто не хочет идти в клуб, непременно придет. Во всей округе только и разговоров, что о предстоящем спектакле. Соберутся две соседки у колодца и обязательно заговорят о нем:

– Чула? В воскресенье ребята представляться будут.

– Как не чула, только не пойму, чего это...

– А вишь ты, бороды понавяжут, разное по-смешному нарядятся и станут

представляться, всем показывать, чего на большой дороге деется.

– А чего там деется?

– Да кто знает. Сказывают, будто, что ли, убивать будут Макорку нашу...

– Спаси Христос! Страсти-то... За что же её убивать?

– Да кабы я знала. Заслужила, надо быть. Слышь, Митяш, Бережного Ваньки парень, это который живые картины-то кажет, он будто бы убивать хочет...

– Что ты баешь! И парень-то вроде хороший, не буян.

## 5

Но вот настал день спектакля. С утра моросил мелкий дождик. Возникло опасение, как бы он не помешал сбору. Однако опасение оказалось напрасным. Задолго до начала, чуть не с полудня, по обочинам разбухших от грязи дорог потянулись к Погосту первые зрители. Тут – толпа парней с неизменной тальянкой и непременными частушками, от которых ушам становится горячо; там – стайка девушек босиком с болтающимися на палочках через плечо полусапожками; а здесь – пробираются в одиночку или небольшими группами степенные землеробы, направившиеся будто в потребилровку, не на спектакль же, конечно. Под вечер появились на пороге бывшего амбара и пожилые женщины. Войдет, остановится у косяка, оглядит всё невиданное убранство, поищет глазами, на что бы перекреститься, не найдя, перекрестится так, в угол, на плакат, призывающий помочь голодающим Поволжья.

Сперва на скамейки не садились, жались в сторонке, у стены, потом постепенно стали заполняться и скамейки. Но передние ряды всё же так и остались незанятыми, хотя сзади, у входа, была теснота. А за сценой в это время происходило такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Толкались, суетились, вполголоса кричали друг на друга, размалевывали лица сажей и обгорелыми спичками, красили щеки румянистой бумагой, пожертвованной деревенскими модницами, наклеивали носы из хлебного мякиша, рядились кто во что горазд. И внезапно обнаруживалось, что готовый, слегка подсушенный, чтобы не мялся, нос Пашки Пластинина съела кошка. Митя Бережной в суматохе потерял заранее приготовленную бороду из овчинного лоскута. И теперь не знал, что делать. Не выйдешь же играть Егора Мерика с голым и таким почти девически нежным подбородком, черт бы его побрал. Митя перерыл всё, что можно перерыть за кулисами, но от этого, конечно, и порядка за сценой не прибавилось, и борода не отросла. Он рвал и метал, кидался на всех и кричал, что к черту со спектаклем, плюнет он и убежит без оглядки. И верно, побежал на улицу, а там в лес за кладбище. Екатерина Ивановна серьезно забеспокоилась. Но он вскоре возвратился с целой охапкой кухты – седого мягкого мха, какой обычно свисает с сучьев старых елей.

– Вот будет борода! Не то, что та, овечья...

– Да ведь Егор Мерик не седой.

– Поседеешь тут с вами.

Наконец всё готово. Зазвенел звонок – и занавес раздвинулся. Как играли артисты, судить зрителям. А зрители молчали. Тишина стояла в зале такая, что даже слышно было, как потрескивает фитиль в лампе. Худо ли, хорошо ли действующие лица ходили по сцене, так или иначе жестикулировали, впопад или не впопад подавали реплики. Зрители слышали не столько артистов, сколько суфлеров, но они думали, что так и надо.

На сцене появилась Макора, чудно разодетая, красивая, статная, в городской шляпке под вуалью. Женщины в дальнем углу приглушенно зашептались:

– Гляди-ко, гляди, Макора...

– А почто, бабы, у нее мережа-то на лбу?

– Эко, не знаешь! Для важности.

А Макора как вышла да увидела полный народу зал, так и потеряла дар речи. Хочет слово сказать – не может. Забыла, что и говорить, всё из головы вылетело. Стоит молчит и совсем не кстати улыбается. Суфлер шипит на неё, злится, показывает кулаки, а она и внимания не обращает. Молчит, улыбается. Екатерина Ивановна из-за кулис ей шепчет:

– Макора, очнись, не стой столбом.

До неё и это не доходит.

И тогда вскакивает с нар Егор Мерик с огромной бородой из еловой кухни, с топором в руке, разъяренный, что зверь, и совсем не по ходу пьесы кричит на Макору:

– Чего же ты стоишь, проклятая!

Он замахивается топором, ребята, изображающие голодранцев на нарах, вскакивают, хватают его за руку, вырывают топор. Кто-то догадывается задернуть занавес. Все в отчаянии, кроме публики. Та довольна: здорово получилось! И впрямь Митя чуть не зарубил Макору, как и сказывали раньше. Да, поди, и зарубил бы, не выхвати у него топор. Горячий парень. И разозлился, видать, здорово. За что, не понятно, но, верно, за дело. А артисты разбрелись по домам, стараясь не попадаться друг другу на глаза.

## 6

Макора обходила Митю стороной, боялась с ним встречаться. Она считала себя виновницей всех бед, случившихся в тот вечер в клубе. Глупая, глупая! Зачем надо было братья за то, чего не умеешь? Вот и поделом, осрамила себя. Да то бы полбеды, ребят подвела – вот главное. А перед Митей она чувствовала особую вину: ведь он её уговорил участвовать в спектакле, значит, на него те-



перь и шишки сыплются. Не успевает, наверно, собирать. Но говорят: тесен белый свет. А Сосновка и того теснее. Пришлось им столкнуться на паузке<sup>1</sup> лицом к лицу. Митя возвращался со станции. А Макора – из лесу с тяжелым лукошком, полным груздей. От неожиданности она выронила лукошко, и часть груздей рассыпалась. Митя бросился помогать собирать их.

– Ой, что ты, Митя, я бы сама... – смутилась Макора. Но Митя вынес лукошко с паузка, поднялся с ним на крутик и нёс до самой Сосновки.

Макора долго искала слова, чтобы, начав разговор о спектакле, покаяться в своей вине. А Митя, когда она об этом сказала, уставился на неё.

– Да о чем ты, Макора? Все мы одинаково наглупили...

Ом, смеясь, рассказал, как ждал своего выхода, твердил первые слова роли, забывал их внезапно, с трудом вспоминал и снова забывал, а сам дрожал, будто от озноба.

– А когда с тобой случился тот столбняк, я, сам не понимая, что делаю, бросился с топором...

– Митенька, ведь ты мог бы меня и зарубить? – почти шепотом спросила Макора.

– А что думаешь, все могло быть. Ну, не помню себя, ровно рассудка лишился.

Они минуту шли молча. Митя переложил лукошко на другое плечо.

– А всё-таки нам надо поставить спектакль. Неужели мы такие размазни, что не сможем взять себя в руки! – Митя рассмеялся. – Теперь опыт есть. А с опытом лучше. Ты как, Макора, согласишься на новый спектакль?

– Будете начинать, так скажите, – просто ответила Макора.

– Не побоишься?

Она прикрылась концом полушалка, а глаза всё равно выдавали улыбку.

– Стану опять посереде сцены, опущу руки, остолбенею... Ты уж с топором-то не выбегай. Хоть дровокольную палку прихвати, что ли...

### *Глава тринадцатая*

## **ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР НАЕДИНЕ**

### **1**

Комитет бедноты добрался, наконец, и до Ефимова заведения. Как с ним быть, думали долго. Махорочного едучего дыму напустили столько, что, пожалуй, не топор, а пудовую гирю повесь, так она закачается на сизых волнах, словно пробочный поплавок. Вынесли резолюцию: окулачить. Кожевню ото-

---

<sup>1</sup> Паузок – дощатое судно для перевоза через реку.

брат. Белоглазому дать твердое задание.

Когда Синяков с понятыми пришел на кожевню, Бережной перебирал в уголке малую кипу выделанных кож. Оглянув заведение, председатель пожал плечами: пусто. Ни сырых шкур, ни готового товара. Инструменты валяются в беспорядке, где попало. Заглянули в чаны – и там нет ничего. Синяков вопросительно посмотрел на понятых. Те пожимали плечами. Он подошел к Бережному.

– Что-то я не вижу вашей продукции, Егор Павлович?

Егор старательно отковыривает насохшую корочку дубильной грязи со своего огромного кулака, не спешит с ответом.

– Тут все, товарищ председатель, – кивает он на кожи, что сейчас перебирал. – Больше нет...

– Плохи ваши дела, – иронически покачал головой председатель. – Кеша, переписывай, что оказалось, да пойдем к самому. С батрака какой спрос. Он дальше носа своего и не видит.

Составив опись, понятые с председателем ушли. Секретарь немного задержался, потому что Егор долго мусолил карандаш, прежде чем поставить свою подпись.

– Ловок у тебя хозяин, успел. Ну, ничего, всё найдем, не сквозь землю провалилось... Прощай, кожевник, – секретарь помахал листом описи.

У Бережного на сердце скребли кошки. В голове всё перепуталось. Думал добра нажать, а оказалось – на-кося! Ефима в кулаки зачислили. А почему? Говорят: мироед. Так он на кожевне сам от темна до темна не разгибал спины. Ну, что плутовал, так это было. Да только один ли Ефим плутует? Положим, за плутовство пусть он отдувается. Но к чему разорять человека, не давать ему ходу, экой постылой кличкой величать: кулак. Поговорить бы с кем толковым, просветлить голову, да с кем? Митяш чего-то косится всё. Да и жидковат он всё же в таких мудреных делах. К полу опять сходить? Евстолий что елеем мазнет, молиться, скажет, надо. И всё. Остается одно – к Синякову податься. Пусть хоть опять под суд упечет... Егор горько усмехнулся, своим думам. И упечет, что с него возьмешь. Скажет, подкулачник и – вся недолга. Очень просто...

## 2

В большом новом пятистенке у Синякова пусто, как на гумне после окончания молотьбы. Полы, крашенные охрой, блестят. На них ни соринки. У самого входа в кухню стоят председателевы сапоги. Сам он, босой, сидит у стола и курит, держа папиросу над консервной банкой, стоящей на лавке.

– Проходи-ко, проходи, Егор Павлович, – говорит хозяин. – Только ты, брат, сапоги снял бы тоже, а то Анфиса пропишет ижицу. Не ровен час, каблук-

ком царапнешь. Ишь, лоск-то...

Синяков затаился, с показной осторожностью стряхнув пепел в жестянку.

– Заставляет меня Анфиса сидеть босиком, колдовать вот над этим сосудом...

– Я уж тут, у порога, посижу, – сказал Егор, присаживаясь на край лавки и неловко ставя ноги так, чтобы сапоги, не дай бог, не повредили охряного благолепия Анфисиных полов. Начинать разговор о трудных своих думах ему уже расхотелось. Чтобы чем-нибудь объяснить свой приход, он сказал:

– От Кеши слышал, дрова сельсовету надобны. Так я, буде, навожу, когда река станет. У меня веснодельные, сухие. Сажени три в поленнице.

– Дрова надобны, – ответил Синяков, приглядываясь к редкому гостю и думая про себя: «Не с дровами ты пришел, приятель. Эко тебе приспичило дрова продавать!» Вслух сказал:

– Возьмем дрова, сходить только надо посмотреть, каковы они.

Синяков докурил сигарку, тщательно притушил окурок в жестянке, босыми ногами, почти на цыпочках прошагал к своим сапогам.

– Пойдем.

На верткой душегубке переехали за реку, вытащили лодку на песчаную рёлку.

– Далеко дрова-то?

– Тут, в новочистях.

Разговор что-то не клеился. Егор шагал, размешивая грузными сапогами глинистую слизь. Синяков шел легко по обочине дороги, сбивая палкой брызги с кустов ивняка. Свернули в лес. Под ногами стал мягко пружинить белый мох, пропитанный дождевой влагой. Шли сосняком, стройным и чистым. Сосенки стайками взбегали с верети на веретию. Идти приходилось словно по волнам. На подсолнечных склонах багровели ковры брусничника.

– Ягод в нынешнем году – хоть лопатой гребь, – сказал Синяков.

– Ягода сочная и сахаристая, – подтвердил Бережной.

Выбрались на покос. Пузатые стога стояли в ряд, чуть покосившиеся то на один, то на другой бок. Синяков засунул руку в стог, вытащил горстку сена, посмотрел, понюхал.

– Ничего не согрелось. Метали в непогодь...

– Ветром продуло, – пояснил Бережной. – Неплотно клали зароды, остерегались утаптывать.

– Да...

Миновали болото. На его закрайке, в кустах ольшаника, мелькнули поленницы дров.

– Березовые, загорят, как порох, – прихвастнул Егор, проведя рукой по ровно наколотым и аккуратно сложенным поленьям.

Синяков перевернул два-три верхних полена, постучал по торцам концом палки.

– Звенят добро. Чего же, я возьму. По первопутку привезешь.

И вдруг повернулся к Егору, подошел к нему вплотную.

– Вот что, Егор Павлович, – сказал он, ища глазами Егоровы глаза. – Дрова-то дровами, ладно. Да я с тобой поговорить хочу о серьезном деле. Хошь ты сердись, хошь нет, я тебе скажу прямо: ты дурак...

Бережной стал медленно налижаться краской.

– Ты чего собачишься, Синяков? Я не посмотрю, что ты власть...

– Про власть тут меньше всего заботы, – прервал председатель. – Как не дурак, ежели подкулачником становишься, из Ефимовой лапы глядишь, что глупый мышонок из мышеловки. Я давно ждал случая высказать тебе всё, да не приходилось. Затянут они тебя в болото, святые эти, вспомни мое слово. Кабы я тебя не знал с малых лет, и слов тратить не стал бы. И отец твой всю жизнь спину гнул, и братья труженики, и сам ты, знаю я, честный человек. А они тебя опутают, собьют с пути; погубят. Отступись от них, пока не поздно.

Похожий на кряжистый увал ростом почти на голову выше Синякова, вдвое шире его в плечах, Бережной почувствовал себя перед щупленьким председателем совсем беспомощным, маленьким и хилым. Он слушал, уставив взор на кусок бересты, валявшийся у ног. И чем больше говорил Синяков, тем тошнее становилось Егору. Неужели он такой плохой, самый последний человек? Что он сделал гнусного, чтобы его можно было так поносить? Не воровал, не грабил, по башке никого не стукнул...

Улыбнувшись детской улыбкой, он посмотрел на Синякова.

– Ты уж меня с грязью смешал, Федор Иванович. Подкулачником величать начал. Видно, такой я и есть, молчать приходится. Только я бы тебя, товарищ председатель, об одном спросить хотел...

– Спроси-ко...

– А ответишь? Не погнушаешься подкулачником?

Синяков весь сморщился, удерживаясь от смеху.

– Отвечу хоть кулаку. Такая у меня должность, ответственная, – сострил он.

Бережной расстегнул ворот рубахи, снял кепку, сел на пенек. Лохматые волосы зашевелились на ветру. Цигарка свертывалась плохо, вышла какая-то неровная, шишковатая и косая – рыхлая газетная бумага не склеивалась. Зажав в ладонях спичку. Егор долго прикуривал. Синяков ждал.

– Вот скажи ты мне, Федор Иванович, – начал Егор, справившись с сигаркой, – скажи мне истинную правду: зачем мужика притесняют?

Цигарка расклеилась, пришлось снова канителиться с ней, снова прикуривать. Затянувшись, Бережной вопросительно посмотрел на Синякова. Тот стоял, не меняя положения. Только глаза его превратились в щелочки.

– Это что – вопрос подкулачника? – тихо спросил он.

– Пускай...

– Ну, так вот тебе прямой ответ: притесняют кулака. Притесняют и притеснять будут, пока совсем не ликвидируют как класс. Кто такой кулак? Он тот же мужик, да с одной особенностью. Мужик ломает хребет, о своем хозяйстве радеет, семью кормит. Что сказать худого про мужика? А ежели он землишки прихватил излишек, меленку соорудил, кожевню завел... На него батраки шею гнут, а он барыши считает. Да еще норовит обдурить того, кто попроще. И тебя же укорит, что ты его хлеб ешь. Кулак тот, у кого брюхо ненасытное, глаза завидующие, руки загребушие и кто норовит чужим соком питаться. Всё одно, что паук...

Синяков умолк, наблюдая за Егором. Тот сидел с неподвижным лицом.

– И мы того паука изведем! – жестко сказал Синяков, сжав кулак. – Не дадим ему из нас соки тянуть.

Егор не отозвался. Он думал. Натужно, медленно думал он, ища своих путей мыслям, не желая подчиняться постороннему, хотя и ясному подсказу.

– Допустим, паук, ладно, – размышлял он вслух. – Прихлопнете его как класс. Дородно. А ежели другой появится? А за другим третий.

– Ты, братец, ловко соображаешь! – обрадовался Синяков. – Так и есть. Другой появится и третий. За белоглазым Ефимом, чем черт не шутит, потянется Егор. Дай только ему волю. В том-то и дело, чтобы не дать отрасти у Егора паучьим лапам.

– Обломать батогом их, – сквозь зубы пошутил Егор.

– Обломать-то не загвоздка, – задумчиво произнес Синяков. – Обломать всегда можно. Труднее сделать, чтоб не было у Егора нужды в паучьих лапах.

– Заморить его и все тут.

– Эх, Бережной, Бережной! Хороший бы ты мужик, да сидит в тебе какой-то червячок, не пойму я...

Синяков поднял с травы Егорову кепку, нахлобучил на лохматую голову, прижал ладонью.

– Пойдем-ка домой, хватит, поспорили... Ты вот что, на меня можешь сердиться или нет, а я тебе правду-матку режу, потому добра тебе хочу. Подумай и насчет паука-кулака и насчет подкулачника...

– Подумаю, – согласился Егор, – подумаю. Только как же у тебя выходит, председатель, не соображу: кулаков ты порешить хочешь, храбрости хватает, а у своей Анфисы по крашеному полу на носочках танцуешь. Кулак-то ведь не Анфиса...

Синяков захохотал так, что в чаще березняка тяжело захлопала крыльями вспугнутая птица.

– Что верно, то верно. Анфиса не кулак, а того и гляди, ещё похуже будет...

Славное на севере бабье лето с его сухими солнечными днями, с его теплыми ночами, такими темиыми, что кажется; будто ты потерял глаза. За эти ночи и любо оно парням и девушкам. До глухой полуночи звенят голосистые песни где-нибудь за гумнами у ближней околицы. Взвизгивают тальянки, раздаётся смех. Но особенную прелесть ночей бабьего лета составляет старый обычай веять бабку. Митя очень его любил. Недаром он приехал домой к той поре, когда парни один другому весть подадут: костра готова, сегодня будем бабку веять.

Ах, какое это удовольствие – веять бабку! Лишь глянут с неба ядерные звезды, на верхнем урочище вокруг огромной копны замелькают смутные тени, порой слышится смех, негромкие голоса. Несведущему человеку покажется странным такое оживление в пустом поле темным вечером вокруг какой-то кучи соломы ли, мякины ли. Но в Сосновке все знают, что там собралась нынче молодежь веять бабку. И не мякина, не солома тут возвышается рыхлым ворохом, а сухая льняная костра. У каждого парня в руках длинный стяг. Окружив ворох, парни подсовывают концы стягов под его основание.

– Давай, Паша, действуй!

Паша наклонился, чиркнул спичку, пересохшая костра вспыхнула, и весь ворох вмиг охватило пламя. Темень раздвинулась. В мятущем свете вокруг запестрели полушалки девчат, стоящих поодаль в ночном хороводе. Парни ждут, когда костра разгорится сильнее. Наконец, Паша командует:

– Раз, два – взяли!

Парни напряглись и враз вскинули весь ворох на концах кольев. Будто огромная шапка, подброшенная богатырем, он взвился ввысь. Мгновение над полем пламенеет огненный столб. Потом расширенная его вершина ослепительно вспыхивает и, рассыпаясь в воздухе мириадами ярких искр, гаснет. Тьма сгущается до предела. И тогда такой же пламенный столб возникает на холме за рекой, затем на поле у Погоста, потом взвивается искристый веер над кромкой леса за мельницей. И снова звучит команда:

– Раз, два – взяли!

И пылающий гриб опять вырастет над полем. И ответ за рекой не замедлит. И у Погоста, и за мельницей, и в разных местах по всей округе поднимаются сияющие столбы.

А в деревнях стар и млад – все прилипли к окнам, ахают, кричат, радуются.

– Бабку веют! Бабку веют!

И сегодня в ночь сосновские ребята собираются веять бабку. Мальчишка везет на поле воз костры от бань. Навстречу ему позванивая колокольчиками, железными дребезгливыми боталами, лениво тянется отъевшееся на открытых

ныне для него лугах коровье стадо. Коровы мычат по-осеннему протяжно, жалостливо. Бунчит красно-пестрый бугай, взрывает землю копытом и, кося глазом, угрожающе наставляет рога. Он не знает, видать по всему, что рога-то спилены и совсем нестрашны.

Мальчишке хочется подразнить свирепого быка. Он легко скатывается с коня и длинной вицей размахивает перед самым носом животного. Бугай сначала озадаченно останавливается, а затем, с силой вздохнув и выдохнув воздух, рывкает, устремляясь на мальчика. Тот со смехом отпрыгнул. Бык на него. Парень ударил быка вицей по морде. Тут уж окончательно рассвирепевший бугай взревел так, что, услышав рев, Егор поспешил к окну.

– Что там такое?

А в это время бык, наступая на паренька, загонял его в узкий проход между изгородями. Малец закричал, растерянно замахал руками, не зная, куда сунуться. Егор выскочил на улицу, кинулся к воротам, чтобы, открыв их, пропустить парня. Бык, увидя перед собой нового противника, сперва опешил, но тут же перешел в атаку. Егор не успел опомниться, как оказался между остатками мощных рогов. Раздумывать было некогда, иначе бык сомнет и раздавит. Ухватясь за култышки рогов, Егор напряжением сил остановил свирепого зверя. Бык храпел, мотал головой, сился вырваться, но Егорова хватка оказалась мертвой. Оба – и бык и человек – застыли в невероятном напряжении. Из деревни бежал народ, кто с метлой, кто с палкой, кто с ременным кнутом. Но ни кнут, ни палка помочь не могли. Все зависело от того, кто дольше выдержит. Егор понимал, что ему не выстоять против быка. Он озирался, ища выхода. Рад бы отпрыгнуть, да некуда – с боков изгородь, сзади стена черной бани. Остается осилить быка. Но разве хватит человеческой силы, чтобы свернуть могучую шею разъяренного животного! Бык тряхнул головой, поднял в воздух Егора и с маху бросил его на землю. Толпа ахнула. Казалось, всё кончено. Параня взвыла, закрыв лицо руками. Но Егор изловчился, оказался на ногах, схватил камень и ударил быка выше переносицы. Тот взревел и закачался. Егор ударил ещё раз. Бугай опустился на колени и тяжело рухнул на бок.

Митя прибежал к месту происшествия тогда, когда Егор, обтирая разодранной рубахой кровь с лица, припадая на левую ногу, шагал к дому.

– Ничего, поборолся, – прохрипел он.

Митя увидел в толпе Макору. По её бумажному лицу он понял всё. Ничего ей не сказал. Она прошла мимо, не заметив его.

В тот вечер бабку не веяли.

*Глава четырнадцатая*  
**ОДИНОЧЕСТВО ЕГОРА БЕРЕЖНОГО**

**1**

Неделю после единоборства с быком Егору пришлось вылежать на полотах. Поврежденная нога разболелась, и ходить он не мог. Вынужденное безделье угнетало, а дума, неотвязная, тяжелая, была одна: как дальше? Егор чувствовал, что он одинок. Жена заглянет, подаст миску щей, жбан квасу, поправит одеяло, а ему всё равно, что она заглянула на полати, что старуха Петрушиха. Да и от самой Парани – он ведь видит – теплотой не веет.

С Платониным семейством у Егора никогда душевной связи не было. А нынче совсем разошлись. Как злился, как стучал кулаками по столу в тот вечер Ефим, когда Егор отказался прятать добро в межуголке и подзорах крыши.

Из всех своих родственников Егор любит больше Митюшку, племянника. А тот отворачивается от дяди. «Что я ему плохого сделал?» – думает Егор и не находит ясного ответа. Соседи? А что соседям до Егора? Живи, как знаешь, сдохнешь – плакать некому... Каждый по себе, каждый для себя... Нечаянно Егор пошевелил больной ногой. Острая боль заставила сморщиться. Он пересилил боль, потянулся за кисетом. Неловким движением столкнул его на пол.

– Поддай-ко, не видишь? – крикнул он жене, не называя её.

Жена не отозвалась. Егор помешкал, прислушался. В горнице позвякивали ножницы. Значит, она там.

– Эй! Оглохла, что ли? Кисет упал, поддай.

– У меня и имя есть, – огрызнулась Параня. Кисет сунула на полатный брус.

«Так вот и жить, так и жить одному... Кого же тебе винить, друг Егор? Винить-то некого!...» Крепкий махорочный дым клубами поднялся к потолку. Забеспокоились тараканы, суматошливо начали соваться в щели. «Веселое занятие считать тараканов»...

«...Синяков тянет в колхоз. Ему что! От него требуют, чтобы все мужики сплошь колхозниками стали, и в газетах об этом пишут. А тут Егор Бережной бельмом на глазу. Вот он, председатель, и старается. А зачем в колхоз своё добро отдавать? Единоличником ты сам себе хозяин, а там всё чужое... Другие идут? Так пушай идут, кому что по губам – одному пиво, другому березовый сок. Да вот и Платонида в колхоз идти благословляет. Чудно что-то. Бывало не переносила слова «колхоз», а тут...»

– Женка! Иди-ко...



Параня нехотя взобралась на край печи, протянула голову к полатам:

– Чего тебе?

– В колхоз буду вступать, вот чего...

– Вступай, мне-то что...

Егор не поверил. Давно ли жена, слышать не хотела о колхозах. Он привстал, чиркнул спичку, осветил женино лицо. Она ухмылялась.

– Чему ты веселишься?

– А хныкать-то пошто? Вступишь, перебьемся как-нибудь трудные дни. Недолго ведь, рассыплются они. А пока, чтобы не притесняли, вступай.

– Кто тебя так просветил, не Платонида ли?

– А кабы и Платонида.

«Вот что им бабам – не размышляй, не мудри, чего другие скажут, тому и верь, – подумал Егор, отворачиваясь к стене. – А ты, мужик, мозгуй за них...»

## 2

Прихрамывая, Бережной вёл по деревне Рыжка. У колхозного правления он привязал его к изгороди. В правлении сказал:

– Привел мерина. Забирайте. Коров баба пригонит. А меня в колхоз не записывайте. Поеду на лесозаготовки. Проживу как-нибудь...

Председатель озадаченно вертел меж пальцами карандаш.

– Ты чего мудришь, Бережной? Вступаешь – добро. А мудрить нечего...

– Не возьмешь, что ли?

– Мы подачек не принимаем. Хошь записываться, подай заявление, как ещё посмотрит общее собрание. Я один не решаю.

Егору горько и смешно. Какая жизнь началась, разберись-ка в ней. Человек коня привел, отдает: возьмите. Добро своё чужим людям отдает неизвестно зачем: возьмите. А они ещё и брать не желают, говорят: «Заявление напиши, посмотрим...» Посидел Бережной на лавке, пососал махорочную горечь, налобутил кепку.

– Не надо, так и не наваливаю. Прощайте-ко...

– Тяжелый человек, – сказал председатель, когда Егор захлопнул дверь. – Не поймешь, чего ему и надо. Другие Бережные – люди как люди, а у этого характер...

– Подкулачник, одно слово, – уточнил счетовод.

Председатель наморщил лоб, посмотрел в окно.

– Да кто его знает. В подкулачники зачислить недолго. От иных его поступков и верно подкулачником пахнет...

– Так Ефимов же компаньон, чего там, – снова поставил точку счетовод.

– Нет, с Ефимом его мешать не придется, хоть и обдуряют мужика эти бо-

ГОМОЛЫ...

По первопутку Егор вывез дрова, сложил их у сельсовета, постучал Синякову в окно.

– Принимай.

Федор Иванович жестом руки показал, что принимать не к чему, заходи, мол, получиай расчет. Егор неумело расписался в ведомости, получил деньги у счетовода. Синяков опросил:

– В колхоз-то не вступил ещё, Егор?

– Пробовал, не принимают, – ответил Бережной, засовывая деньги в карман.

– Как так?

Синяков даже привскочил на стуле.

– А так, – равнодушно ответил Егор. – Мерина приводил – не берут. Говорят: пиши прошение. А какой я писака? Лучше уж я на лесозаготовки поеду. Там привычнее. Моё дело топором махать, а не прошения писать...

– И мудренастый же ты мужик, леший с тобой, – хлопнул Синяков ладонью по папке, встал, шагнул по скрипучим половицам. – В лес задумал – поезжай, дело нужное, государственное. А хозяйство всё-таки пусть в колхозе будет. Вон Кеша накает тебе заявление, коли хошь...

– Эй, берегись!

Егор, вытирая рукавицей пот с лица, наблюдает, как сосна со свистом валится в снег, высоко подбросив сверкающий белым обрубом комель. Снежная пыль столбом взвивается вверх, с головы до ног осыпает Егора и Ваську Белого. Оба они отряхиваются, как куропатки, и начинают обрубать сучья.

– Ничего лесина, полкуба будет, – говорит Егор.

– Кабы полкуба, – не верит Васька. – Эдак с дюжину лесин чикнули бы – и, глядишь, норма.

– Силен, с дюжинку... А не хошь два десятка?

Егор ловким ударом топора счищает несколько сучьев подряд. Топор у него, будто играючи, скользит, позванивая, с той и другой стороны ствола, сучки срезаются легко и ровно. Васька старательно отрубает вершину, пыхтя, оттаскивает её в сторону.

Облюбовав новую сосну, Егор с минуту смотрит на неё, обходя кругом. Кивает Ваське. Тот срывается с места, пляшет около ствола, отапывая снег. Егор неторопливо берет пилу, пробует большим пальцем зубья, прищурясь, проверяет их развод. Всё в порядке. Оба лесоруба сгибаются перед комлем дерева в три погибели, делают запил. Направляемая твердой Егоровой рукой, пила ходит ровно и свободно с характерным мягким шуршанием. Поглядеть со стороны – не работают, а играют. Но какова эта игра, подтверждает парок, что вьется с сгорбленных спин. Кончив запил, Васька сощипывает с редких волосков своей бороденки ледяные сосульки, морщится. Егор легонько покрякивает на него:

мол, некогда канителиться. Васька бежит за колом, упирается в ствол подпиленного дерева, помогая ему правильно упасть.

Когда Егор приехал в Сузём, десятник Иван Иванович, отводя ему делянку, объяснил строго:

– Три плотных кубометра – норма. Понятно? Не дашь нормы – не выходи из лесу. Так? Делянку я тебе отвожу баскую, не сосняк, а ровная конопля. Ясно?

– Вроде ясно, – хмыкнул Егор. – Нам норма ни при чём, хоть плотная, хоть рыхлая, все одно...

– Как так ни при чем! – возмутился десятник. – Ты, браток, шутки не шути. В лес приехал, не куда-нибудь, понимать должен. И никакой рыхлой нормы не бывает. Бывает складочный и плотный кубометр, по техминимуму. Да ведь ты техминимум-то и не нюхал.

– Ты уж тут считай, как знаешь, на то тебя и начальством поставили, – добродушно согласился Егор. – А моё дело лес рубить. Вот напарника бы найти...

– Возьми-ко вон Ваську Белого, – предложил десятник. – Никто беднягу в напарники не принимает.

В ту пору, когда Егор Бережной с Васькой Белым взялись за ручки пилы, в Сузёме появились первые тракторы и сам этот лесной посёлок получил горделивое имя тракторной базы. Егор немало чертыхался, умиряя Рыжка, напуганного трескотней невиданных машин. И он же от души восхищался, глядя, какой возище тащила играючи эта окаянная машина.

– Фу ты, орясина проклятушая! Штабель какой прет. Нам бы с тобой, Рыжко, за год не перевезти.

С появлением тракторов потребовалось усилить валку леса и подвозку бревен из лесосеки на верхние катища. В делянках стало людно – понаехали крестьяне из всех окрестных: деревень. И не только мужики, привычные к топору и пиле, а и женщины, ловкие искусницы за прялками да кроснами, лесорубы же никудашные, с коими горе одно, а не работа. Были тут слезы, ругань, укоры, обиды – от этого штабеля на катищах не прибывали. Бережной посмеивался, глядя на всю эту возню – ему до неё нет дела. Он в свою делянку приходит первым, а уходит из делянки последним. Весь день сгибается у соснового комля до того, что Васька Белый под конец застонет.

– И, чего ты убиваешься так, Егор! Кубышку медяками набивать будешь?

Бережной, с удовольствием распрямляя спину, шлепает Ваську рукавицей.

– Не ной. Робить так робить, носом шишки околачивать нечего. Давай-ко закусим...

Он усаживается на ворох прутьев, будто на пружинистый матрац, достает краюху хлеба, берестяную, плетеную в виде лаптя солонку, густо посыпает хлеб солью. Ест молча, медленно и, пожалуй, даже торжественно. Поснедав, собирает крохи с тряпицы в ладонь и отправляет в рот.

– Никому мы с тобой, Васька, не нужны, – говорит Бережной, как бы продолжая вслух свои раздумья. – А ежели и нужны, так чтоб от нас выгоду иметь. Чуешь? Так уж мы лучше будем свою выгоду блюсти...

Он встает, затягивает кушак, берется за пилу.

– Что заработаю, то мое. И никому я своего не отдам...

Идет к дереву.

– Хрястаю, да знаю: в свой карман. Вот как. Примемся-ко, Василий...

### *Глава пятнадцатая*

## **ПСАЛОМЩИК ЧИНИТ СЕННЫЕ ВИЛЫ**

### **1**

Вечером, крадучись по задворкам, к Платониде пришла Анфиса. От ветру ли, от скорой ли ходьбы ее белое крупитчатое лицо в алых пятнах, грудь ходит ходунам. Нервно перекрестясь, подошла к Платониде под благословение. Та в душе удивилась: такого еще не случалось, чтобы председателява женка благочестие выказывала. Но виду не подала, смекнув, что такое не напрасно и Платонидиному козырю в масть.

– Проходи-ко, девонька, со Христом-спасителем, – пропела Платонида, осенив гостью щепоткой. – Садись-ко да хвастай.

Анфиса обвела горницу взглядом, чтобы удостовериться, нет ли кого лишнего, и зашептала прерывисто, торопясь:

– К тебе я, Платонидушка, прости ты меня ради господа. Грешница я, из-за своего-то не молилась и приношений не делала, вид показывала. Теперь уж всё равно, откроюсь, замолю прощение. Федюня-то мой, сама знаешь, еретик неверующий, из-за него и я... Только нынче мне до него дела нет, опостылел он. Каюсь, каюсь, помилуй ты меня, грешницу...

Хозяйка, поджав губы, слушала сбивчивые излияния, силясь уловить в них суть. Догадки одна за другой быстро сменялись в ее голове: «Поссорились опять. Стукнул, может? Али и впрямь он к другой переметнулся, лопнуло терпенье. А то, чего доброго, не она ли сама с другим снюхалась?» Платонида не перебивала, дала Анфисе выговориться до конца. Из путаного рассказа поняла одно: у председательши с мужем нелады. Она пришла за Платонидиной помощью. Надо не упустить случая...

– Садись, девонька, да успокойся, – медвяным голосом сказала Платонида, смахнув с лавки пыль передником. – Царь небесный милостив и незлобив, он всё прощает, ежели к нему прибегают с верной душой. Чую, у тебя горькая напасть. Рада тебе помочь, помолясь и припадая к стопе всевышнего. А что ты грех на душу брала, бога гневил, показывала себя неверующей, так это замо-

лить можно, постом, да усердием, да благими делами умилоствить страсто-терпца и заступника...

Анфиса мало-помалу успокоилась, присела на струганую лавку, приняла из Платониных рук чашку с дымящимся чаем, с хрустом откусила частыми зубками сахару от большой голубоватой глыбы. Беседа потекла ровно, благостно, с приятностью. Платонида, наконец, уразумела, зачем пожаловала нежданная гостя. Анфиса хотела, чтобы «праведная заступница» стала преградой между Харламом и Параней. Что тот, пользуясь отъездом Егора в лес, постукивал иногда в Паранино окошко, и после этого негромко звякала щеколда, – это не было для Платониды тайной. Но какого дьявола понадобилось Анфисе встреть тут? Платонида не сомневалась, что со временем всё раскроется и станет явным, потому ни о чём не расспрашивала, а только поддакивала и непрестанно сыпала божественными словами. Она не скупилась на обещания молиться и просить божьей помощи и вразумления. А сама в душе ликовала: отольются волку овечьи слезки! Уж она сумеет использовать Анфису так, чтобы испытал председатель на собственной шкуре плату за реквизицию кож и предание суду Ефима Марковича, страдающего ныне где-то на дальних лесозаготовках.

По мере того, как Анфиса постепенно раскрывала себя, Платонида становилась всё холоднее и суровее, медвяность в голосе давно исчезла, он стал глухим и жестким.

– Грешна ты, баба, шибко грешна. Много тебе надо, чтобы смилостивить спаса. Надейся на него и будь послушной. Только тем искупишь грех, – напутствовала она, выпроваживая гостю. А та, помявшись, вытащила из-под шубейки сверток в ситцевом платке и неуверенно протянула его. Хозяйка нахмурилась, убрала руки за спину.

– Недостойно соблазнять меня земной суетой, – прошипела она. – Богу принесла, богови и отдай.

Но видя, что Анфиса в замешательстве готова сунуть сверток обратно под шубейку, Платонида повела бровью в угол горницы: там, мол, оставь. Помешкала и для пущей ясности указала рукой. Председательша сунула узелок в угол, торопливо раскланялась и выбежала из горницы. Заперев дверь, Платонида с любопытством развязала узелок. Под платком оказался горшок с маслом. Хозяйка скривила губы.

– Не велико приношение. Ну да ладно, и то добро, что масло-то не простое, председательшино...

## 2

Харлам Леденцов несколько зим подряд не ездил на лесозаготовки. То прикидывался больным и ухитрялся получить форменную справку о болезни со

штампом акушерского пункта, которая почему-то удовлетворяла вербовщиков леспромхоза, то нанимался ночным сторожем на кирпичный завод Коопералеса, где под перекошенными соломенными навесами давно уж не было ни единого кирпича, то с осени брался крутить сепаратор на маслобойке, а лишь закончится вербовка сезонников в лес, благодарил девчат за вкусные сливки и уходил шататься неведомо где. Колхозники не раз в один голос на собраниях корили бродягу-псаломщика бездельем, величали его злостным дезертиром. А с него, как с гуся вода. Похохатывает, играя бабочкой усов. Люди удивлялись, чем он живет: всегда сытый, форсисто одетый и, почитай, каждый день хмельной. Одни догадывались, что продает купчихино тайное наследство. Другие многозначительно произносили: «Баб-то мало ли...». Третьи намекали, что случается иное и плохо лежит. Поди разберись!..

А правда в том, что от купчихи Волчанкиной у псаломщика в самом деле кое-что осталось. Да о пропитанье у Харлама и тревоги не было, ибо в Сосновке, в Лунданге, в Паршивом починке и во многих других деревнях Харлам находил теплые ночевки с оладьями под ярую брагу, с груздями да рыжиками под зелено вино, с пышными ватрушками под наливочку. А о том, что плохо лежит, сказать нечего – не пойман не вор. Так и жил Харлам: легко, весело и беззаботно. Дома ночевал редко, а когда ночевал, трещали рамы, летели на пол чашки и ложки, поутру Харламова жена приходила к соседям вся изукрашенная синяками.

У Платонида ухо чуткое: вечерний стук в соседское окно не ускользнул от её внимания. Для зоркого глаза и темнота не помеха: разглядела Платонида, кто шмыгнул возле поленницы на крыльцо. Звякнула щеколда, плохо смазанные дверные крюки скрежетнули, и, переждав немного, Платонида закуталась в черную свою накидку, взяла глиняный кувшинчик и, вздыхая да крестясь, отправилась к соседке. Переступив порог, она истово помолилась на образа и, будто только тут увидела псаломщика, сделала удивленное лицо.

– Харлам Мефодьевич, ты-то тут как?

Леденцов в усмешке шевельнул бабочкой усов.

– Вилы, вишь ты, матушка, у Парасковьи сломались, нечем утром трясеницы<sup>1</sup> коровам натрясти. Так позвала меня.

Параня, сперва растерявшаяся, покрасневшая, обрадовалась Харламовой находчивости, подхватила:

– Чистое горе без вил... Руками много ли натрясешь... А кого позвать поправить вилы? Мужики все в лесу...

Платониде хочется уязвить соседку, но она сдерживается, согласно кивает головой, протягивает Паране свой кувшинчик.

---

<sup>1</sup> Трясеница – смесь сена и яровой соломы, приготовляемая для скармливания коровам

– Дрожжей плесни-ко мне, Паранюшка. Квашню творить собралась, а дрожжей и нет. Думаю, схожу к соседке, она запаслива. Не ведала, что помещаю... вилы чинить.

Когда Параня спустилась в голбец за дрожжами, Платонида прищурилась на Харлама.

– Уж ты и блудодей! Нет на тебя хорошихвил у мужиков.

– Плохие у мужиков вилы, в том и горе... – бабочкаусов псаломщика вновь затрепыхалась.

Получив кувшин и прощаясь, Платонида смиренным голосом пропела Харламу:

– Починишь вилы, так ко мне зайди Харламушко. По божьему делу поговорить надо.

### 3

– Вас ис дас, майн мутер? Зачем звала?

– Ну тебя к лешему, немтяк. Не марай ты язык этой поганой говорей...

От псаломщикова хохота задрожали рамы.

– Могу и по-иному. Благослови мя, святая мать, Христова невеста...

– Угомони хайло! Вот благословлю тебя ухватом.

Резкие Платонидины слова никак не соответствовали выражению её лица. Она смотрела на псаломщика ласковыми глазами. Строго сложенные её тонкие губы вздрагивали. Казалось, она держит за ними смех и удержать не может. Псаломщик по-домашнему свободно разделся, повесил шубу на деревянный крюк, вбитый в стену под полатями, шапку кинул на поллицу. Не крестясь, сел к столу.

– Маленькую сулила, матушка. Жду...

– Поставлю, поставлю, не обману.

Из шкафчика вынырнул графин, появилось блюдо с груздями, краюха ржаного хлеба. Не ожидая потчевания, Харлам опрокинул стопку, понюхал корочку, и смачно захрустели грузди между мощными челюстями. Платонида подождала, когда он кончит закусывать, и безо всякого подхода спросила:

– Ты давно?

Он понял, возвел глаза горе.

– На днях сподобился.

– А Егор узнает?

Псаломщик выпучил глаза, будто от страха, торопливо налил вторую стопку и проглотил разом.

– И как тебя хватает, Харламушко? – насмешливо вздохнула Платонида.

Подцепив вилкой аппетитный груздок и понюхав его, Харлам убежденно

произнес:

– Хватит!

Платонида села на лавку рядом с псаломщиком.

– Ты уж, Харламушко, по бабьим делам как знаешь, учить тебя не буду, охальник опытный, только не забывай ты божеского-то служения, хоть и ходишь нынче без крыласного места.

Псаломщик выпил через край груздевой рассол, уставился на Платониду соловыми глазами.

– На шута мне твой крылас сдался! – рявкнул он. – Слушать, как попик в алтаре гнусавит: «Бог мой, спаситель мой, коровы боюся...» И отвечать ему: «Помело скажи, помело свяжи, брось в пузо кадилом...»

Каламбур развеселил Платониду, она тоненько захихикала, прикрыв рот концом рушника, висевшего в простенке на гвоздике. Очень уж ей забавным показалось, как вместо «кого убоюся» псаломщик протянул «коровы боюся», а привычное, часто повторяемое «господи помилуй» у него превратилось в «помело скажи», а под конец даже оказалось «брось в пузо кадилом». Но тут же она спохватилась.

– Совсем ты безбожником стал, Харламко.

– Каким был, такой и есть, – отрезал Леденцов, выдвигаясь из-за стола и слегка тесня по лавке Платониду. – Ты говори дело, мать, да я пойду. Ведь больше не поднесешь.

– Хватит с тебя, и так побусел. А дело вот какое: с Анфисой-то у тебя как?

– И это уж знаешь? Да ты и впрямь прозорливая, Платонида. Ясновидица, убей меня архистратиг...

Платонида засияла.

– А ты как думал? Ясновидица и есть. Выкладывай-ко грехи начистоту, всё равно не скроешь, знаю.

– Ну, знай. Я и не таюсь. Не тyani только душу.

Платонида отобрала у Харлама шубу, повесила на старое место и, приклонясь к нему, заговорила полусшепотом.

– С Анфисой ты постарайся быть ласковой. Она нам нужна. Через неё мы Синякова в бараний рог согнём. Ведаешь? Ну, а уж я тебя не оставлю. Дай срок, в силу войду, не только псаломщиком, попом будешь. Да ещё каким! В масле кататься станешь... Начинай загодя бороду отращивать. С бородой тебе от баб отбою не будет...

– Да я и без бороды им не рад. Бороду подожду пока. А усы, ладно, пушай разрастаются... У тебя все? Прощай тогда, Анфиса ждет...

С сожалением он посмотрел на пустой графин.

– Подорожник-то надо бы...

– Ой, Харлам, сгинешь ты, ей-богу... На уж, плесну тебе.



Налилось с походцем, водка растеклась по столешнице. Псаломщик сделал горестное лицо.

– Сколько добра втуне пропало...

Дурачась, он подставил Платониде скрещенные ладони под благословение. Оба с полной серьезностью и даже немножко торжественно благословила его.

Леденцов шел задворками, через огороды, мимо бань и посвистывал. Утоптанная тропка впотьмах была еле заметна. Псаломщик часто сбивался, проваливаясь в снег, чертыхался и искал руками, где она, тропа, запропастилась. Платонидины стопки, прибавленные к ранее принятому, оказались тяжеловатыми. Харлама развезло, и найденная тропа вновь увертывалась куда-то, и опять он её разыскивал, ползая на коленях, урча и рыкая, словно растревоженный медведь в берлоге. Наверно, поэтому псаломщиком и заинтересовались собаки. Сперва залаяла одна, потом другая, к ним стали присоединяться ещё и ещё, пока не образовался такой хор, что в деревне забеспокоились.

– Чего там? Ишь, заливается собачня...

Мужчин-то в деревне нет, так женщины, что похрабрее, с дробовиками да навозными вилами двинулись по направлению собачьего лая. Это ободрило собак, они ближе подступили к псаломщику, окружили его, более дерзкие с при визгом хватали за полы шубы. Харлам с пьяной дури по-медвежьи рявкал на них и тем растревлял ещё больше.

– Бабы, да ведь это Топтыгин! Палите-ко скорей! – крикнула та, что бежала позади. Передняя молодка вскинула дробовик и, прижав приклад к груди, начала целиться в темноту. Её соседка дернула за рукав.

– Подожди, девонька, не пали. Двинской голос-то. Не псаломщик ли пасть дерёт?